



Аффективность, внушение, паранойя

Э Блейлер

1. АФФЕКТИВНОСТЬ

То, что мы называем эффе́ктивностью, обозначается приблизительно словами «чувство», «настроение» (Gemut), «аффект», «эмоция». Понятия, скрывающиеся за этими тремя последними словами, сами по себе слишком узки, между тем как слово «чувство» говорит слишком много. Если мы попытаемся провести более ясное разграничение, то философская психология даст нам столь же мало пригодных с естественнонаучной точки зрения разграничений и понятий, как и в других областях.

Если стойки обозначают чувства, как «неясные познания», то они имеют в виду нечто такое, что исключается в большинстве случаев из понятия о чувстве в общей части психиатрии. Они имеют в виду главным образом интеллектуальный процесс. Если схоластики рассматривают чувства, как стремление к добру или отвращение к злу, то это ничто иное, как описательное изображение удовольствия и неудовольствия, к которому примешивается еще этическая оценка, причем больше оттеняется волевой момент, содержащийся в чувствах. Если Гегель называет чувство «интеллектом на ступени его непосредственности», а Фолькмар — «осознанием степени напряженности представления», то это ничто иное, как слова, которые ровно ничего не говорят практическому психологу и психопатологу даже в том случае, если объяснение и истолкование их, которое неизбежно должно сопровождать такие «определения», принимается в достаточной мере во внимание. Наиболее ясно и наиболее правильно выражается Кант, но воззрения его последователей не стали от этого более

ясными, нежели предыдущие воззрения.

В учебниках психиатрии мы в большинстве случаев находим в общей части довольно ясную формулировку: удовольствие и неудовольствие в связи с аффектами составляют то понятие, о котором мы говорим. Однако, при рассмотрении частных вопросов психиатры выходят за пределы этого понятия, границы которого рассматриваются, как нечто само собой разумеющееся, и никогда не могут быть обозначены точно. Поэтому мы незаметно приходим к таким выражениям, как «чувство уверенности», «аффект недоверия», физические чувства и т. д.

Если мы захотим разграничить понятие: чувство — настроение (Gemut) — эмоция — аффект так, чтобы оно стало пригодным для практического употребления, мы должны сначала установить, что в психическом акте может иметь место лишь теоретическое, а не фактическое подразделение психических качеств, о которых идет речь. (Впрочем, что касается аппаратов, лежащих в основе аффективных и интеллектуальных функций, то они в известном смысле разграничены также и фактически (см. ниже о локализации аффективности). При всяком, даже простейшем световом ощущении мы различаем качество (цвет, оттенок), интенсивность и насыщенность; аналогично этому мы говорим о процессах познания (интеллект), чувства и воли, хотя мы знаем, что нет такого психического процесса, которому не были бы свойственны все три качества, если даже на первый план выступает то одно из них, то другое. Следовательно, когда мы называем какой-нибудь процесс аффективным, мы знаем, что мы при этом абстрагируем нечто — аналогично тому, как мы рассматриваем цвет независимо от его интенсивности. Мы должны всегда ясно сознавать, что процесс, который мы называем аффективным, имеет также интеллектуальную (и волевою) сторону, которой мы *in casu* пренебрегаем, как незначительным фактором; при беспрестанном усилении интеллектуального фактора и ослаблении аффективного — возникает в конце концов процесс, который мы называем (преимущественно) интеллектуальным. Таким образом, мы не можем подразделить все психические процессы на чисто интеллектуальные, чисто аффективные (и чисто волевые), а только на процессы преимущественно интеллектуальные, преимущественно аффективные (и преимущественно волевые), при чем могут иметь место неопределенные промежуточные процессы. (Отделение воли от аффективности может быть произведено лишь искусственно). Теоретически мы должны столь же резко отделять обе эти стороны, как мы отделяем интенсивность и качество цветоощущения.

Как большинство психологических терминов, слово «чувство» обозначало первоначально нечто чувственное. Оно было равнозначно современному термину «ощущение», и до

настоящего времени оно несет еще на себе отпечаток, свидетельствующий об этом происхождении. Человек чувствует укол, чувствует, как муха ползает по его лицу; человек испытывает чувство холода или чувство, что почва колеблется под ногами. В первых двух примерах понятие «чувствовать» равнозначно понятию «ощущать»; «чувство холода» означает в большинстве случаев неопределенное ощущение; в «чувстве, что почва колеблется под ногами», заключается сомнение в правильности ощущения.

Таким образом, это многозначное слово оказывается совершенно непригодным для нас. Вместо него мы пользуемся термином «*аффективность*», который должен служить для обозначения не только аффектов в собственном смысле, но и для обозначения легких чувств удовольствия и неудовольствия при всевозможных переживаниях.

Этим собственно, в достаточной мере, определяется понятие нашей темы. Никому не придет в голову определять термином «*эффективность*» чувство, которое испытывает человек при уколе, при ползании мурашек по телу, при колебании почвы под ногами, хотя слово «*afficere*» имело первоначально более конкретное значение.

Зрение, слух, вкус и обоняние не относятся к «чувствам». Мы не чувствуем ни света, ни звука, ни вкуса, ни запаха. Напротив, об осязании часто говорят «чувствовать» — вместо того, чтоб сказать «ощущать» или «осязать», а другие чувствования (*Sinne*) в области кожи, далеко еще не определенные по своему числу и качеству, называются еще и теперь в общеупотребительном языке в большинстве случаев чувствами вместо ощущений.

Однако, все то, что воспринимается или ощущается с помощью этих органов чувств, будет легко отделить от аффективности. Лишь при внутренних физических ощущениях и при боли возникает известное затруднение, которое мы должны себе уяснить.

Кинестетические ощущения («мышечное чувство», «суставное чувство», «чувство напряжения» кожи, связок, сухожилий и т. д.) являются сами по себе, разумеется, простыми ощущениями и не имеют ничего общего с аффективностью; они вполне аналогичны ощущениям света и звука. Они дают нам знать о состоянии внешнего мира, к которому (в психологическом смысле) относится также и наш собственный организм. Для тех, кто не признает этой аналогии, эту мысль можно выразить иначе: кожные ощущения дают нам знать о состоянии раздражения чувствительных нервов мышц, сухожилий и суставов — подобно тому, как ощущение света дает

нам знать о раздражении элементов сетчатой оболочки.

Однако, состояние мышечного напряжения состоит еще в особой связи с аффективностью: одни аффекты вызывают напряжение нашей мускулатуры, другие — ее расслабление; иногда же аффекты обуславливают иное распределение напряжения в различных мышечных группах.

Следовательно, такие виды и комбинации ощущений мышечного напряжения являются сопутствующими физическими факторами или, лучше говоря, частичным проявлением аффективности. Познание их обладает некоторой долей влияния на реакции нашего организма: двигательный импульс должен быть дозирован согласно степени уже существующего напряжения. Но эти ощущения напряжения едва ли доходят до сознания как таковые. Для нашего внутреннего восприятия они почти всегда составляют один лишь компонент аффекта — компонент, который не может быть воспринят изолированно.

Подобно этому, сердцебиение тоже является прежде всего лишь ощущением, процессом познания. Однако, это само по себе очень ясное и поддающееся точному определению ощущение составляет вместе с тем «симптом», частичное проявление испуга, страха, радостной неожиданности и т. д. То же самое относится к ощущениям тяжести или легкости в сердце.

Большинство физических ощущений, которых мы непосредственно совершенно не понимаем, не обладает почти никакой ценностью познания. Правда, окольным путем можно доказать, что наши физические функции, как пищеварение, обмен веществ, внутренняя секреция и т. д., каким-то образом регистрируются головным мозгом и оказывают в свою очередь влияние на психику. Но наше сознательное Я не научилось еще так толковать поступающие раздражения, чтобы оно знало, что сейчас желудок выделяет много соляной кислоты, что печень вырабатывает тот или иной химический продукт в большем или меньшем количестве.

Таким образом, эти центрипетальные функции вряд ли можно еще называть ощущениями, и вполне естественно, что и сейчас еще говорят о физических чувствах. Они также находятся в двоякой связи с аффектами: в центрипетальной (активной) и центрифугальной (пассивной). Все физические ощущения оказывают активное влияние на чувства и даже на аффекты; общеизвестно, что болезни желудка вызывают расстройство настроения; небольшой панариций делает нас раздражительными и т. д. С другой стороны, аффективность оказывает влияние на физические функции (сердце, сосуды, кишечник, железы и т. д.), а вместе с тем и на физические ощущения. Поскольку мы ощущаем или воспринимаем эти

изменения в обиходе нашего организма — речь идет о процессе познания, о чем-то интеллектуальном; все остальное является сопутствующей причиной или «симптомом» аффекта.

К аффектам или чувствам часто относят голод и жажду. Эти последние состоят из ощущений (болей в желудке, жжения в глотке, ощущении слабости в мускулатуре и в психическом аппарате) и из (специфического?) чувства неудовольствия, связанного как с этими отдельными ощущениями, так и с общим состоянием. Ощущения относятся, естественно, к процессам познания, к интеллекту в более широком смысле слова, чувства же неудовольствия относятся к аффективности.

Амфихроматическое чувство щекотки и положительное чувство сладострастия тоже могут рассматриваться как ощущения, к которым примешивается сильный аффект.

Аналогично этому боль заключает в себе, с одной стороны, восприятие нарушения целостности организма, а, с другой стороны — наше отношение к этому нарушению, нашу внутреннюю реакцию. Обе эти стороны так тесно связаны между собой, что мы феноменологически не можем отделить их друг от друга. Когда у нас «болит зуб», мы совершенно не замечаем при этом участия нашей собственной аффективной реакции; мы относим ее за счет центрипетального процесса в форме восприятия. Для передачи этого компонента ощущения при физической боли, равно как для передачи других функций органов чувств от периферии к коре — служат особые нервные пути. Этот компонент ощущения может быть вполне точно локализован в животных (но не в вегетативных) органах. При этом следует отметить, что в некоторых мозговых центрах компонент этот ощущается, как не локализованное общее чувство недомогания, и вызывает реакцию в виде бесцельных движений, выражающих стремление избавиться от этого ощущения. В данном случае отсутствует локализация; в некоторых случаях отсутствует, вероятно, даже ощущение, и остается лишь активный компонент — «боль» вообще. Противоположную диссоциацию мы можем наблюдать при легко возникающей анальгезии у истериков, и особенно у шизофреников, а также при полунаркозе, когда хирургическое вмешательство ощущается, как таковое, в то время, как ощущение боли отсутствует. Гораздо легче внушить анальгезию, нежели, например, осязательную анестезию. И все же в совокупной реакции аффективный компонент — боль — биологически является ее сущностью. Нередко встречается также центральная гипералгезия. (Непонятной остается еще гипералгезия более глубоких частей под каким-нибудь кожным покровом с разрушенными нервами).

Несмотря на то, что боль «ощущается», она может доставлять также удовольствие. При изучении таких нередко

встречающихся процессов оказалось, что речь идет при этом о представлениях, окрашенных удовольствием, которые связываются вторично ассоциативным путем с болью и сверхкомпенсируют или уменьшают ее для нашего сознания — сводя ее иногда к нулю. Мальчик, и даже взрослый человек, хвастает иногда тем, что он хорошо переносит боль; при этом он может позволить другим причинить ему боль или причиняет боль сам себе. У него нет анальгезии, но в данном случае чувство удовольствия берет верх. У истеричек существует болезненная потребность выделяться чем-нибудь; они причиняют себе всевозможные повреждения, сыпят себе известь в глаза, провоцируют болезненные обследования. В подобных случаях боль не только заглушается влечением, которое окрашено удовольствием; она, естественно, ослабевает и тормозится в различной степени — подобно тому, как каждый психизм тормозит остальные психизмы, которые не направлены вместе с ним к одной и той же цели. Таким образом, в муках святых описываются все градации боли, к которой присоединяется удовольствие, причем в крайнем случае полная анальгезия заставляет ощущать только блаженство жертвы, принесенной богу. Какая-то первичная, биологически обоснованная связь между физической или психической болью и удовольствием дана в сексуальной любви; эта связь в одностороннем карикатурном преувеличении приводит к садизму и мазохизму. При мазохизме боль, как таковая, ощущается, но получает положительную оценку, как носительница сверхкомпенсирующего сладострастия. Иначе обстоит дело, когда человек не может удержаться от того, чтобы не ковырять пальцем в ране или языком в кариозном зубе. В данном случае защитный рефлекс против неприятных ощущений берет верх над тенденцией избежать боли.

Все, что мы выше обозначили как ощущение или, вообще говоря, как процесс познания, как интеллектуальную функцию, следует строго отличать от понятия аффективности.

То же самое подразделение, которое проведено здесь в отношении центрипетальных процессов, следует провести также и в отношении интрацентральных процессов. Правда, Наловский давно уже отличает «интеллектуальные чувства» от аффективных, но он проводит это подразделение недостаточно строго для того, чтобы оно стало вполне понятным. Под интеллектуальными чувствами он понимает неясные восприятия, умозаключения и представления, которые оказывают влияние на наши действия. Он говорит, что они отличаются лишь кумулятивным, а, следовательно, неясным действием. По его мнению, мы апеллируем к «чувству» лишь в тех случаях, когда у нас вообще нет достаточных оснований для какого-нибудь мнения, утверждения, решения или же когда мы хотя и располагаем вообще и суммарно этими основаниями, но

не можем продуцировать их каждое в отдельности и в логической последовательности. Наловский считает, что такими чувствами руководствуются в большинстве случаев женщины в своих мнениях и решениях.

Мы ясно видим, что он относит к своим интеллектуальным чувствам такие выводы, при которых предпосылки или логические звенья остаются частично или полностью бессознательными.

Такие неясные выводы или познания вообще встречаются очень часто и играют большую роль в жизни. Так, например, совершенно верно замечено, что женщины чаще руководствуются в своем поведении такими чувствами, нежели сознательными мотивами. Я могу чувствовать, что тот или иной человек относится ко мне недоброжелательно, что Х — негодяй или благородный человек; я могу испытывать чувство, что тот или иной пациент заболел тифом. Однако, в обоих случаях я неясно сознаю, почему я испытываю такое чувство; я не мог бы привести доказательств в пользу правильности его, хотя предшествующий опыт показывает мне, что я всегда делаю меньше ошибок, когда я отдаюсь во власть инстинкта или «интуиции», нежели когда я стараюсь отдавать себе отчет в своих суждениях.

Это — примеры «интеллектуальных чувств» в смысле Наловского. Но мы должны несколько расширить это понятие, не вдаваясь при этом в обсуждение вопроса, удаляемся ли мы этим самым от взглядов Наловского или нет.

Большинство психологов, в том числе и Наловский, представляют себе чувства, как реакцию на какой-либо центрипетальный процесс. Подобная реакция может быть как интеллектуальной, так и аффективной. Так, например, Т. Липпс (Vom Fühlen, Wollen und Denken, Leipzig Barth 1902), относит это к чисто интеллектуальным процессам, когда он говорит о себе: «я чувствую себя уверенным» или когда он вообще говорит о чувстве уверенности. Он обозначает словом «чувство» познание того, что он правильно думает или постигает. Это познание может быть окрашено удовольствием или неудовольствием — в зависимости от содержания мысли или восприятия (я уверен, что мой друг меня обманывает — я уверен в том, что получу повышение). При этом аффективность является чем-то совершенно случайным. Неодинаково оценивается психиатрами «аффект недоверия» Под ним подразумевают не такое чувство (= внутреннее восприятие), что я сам недоверчив, а чувство, что может быть кто-то хочет причинить мне нечто неприятное; следовательно, аффект недоверия представляет собой неопределенное познание, которое может быть окрашено в меньшей или большей степени аффектами в зависимости от

своего содержания. При этом аффекты не всегда должны быть отрицательными; например, я могу радоваться нападению противника в том случае, если я достаточно вооружен для встречи с ним и для окончательной победы над ним, или в том случае, если это нападение направлено не против меня, а против моего врага.

То же самое относится к «чувству истинности», «вероятности», о которых, между прочим, говорит Т. Липпс. Когда что-нибудь кажется нам истинным или вероятным или когда мы делаем логический вывод, мы имеем дело с функцией чистого познания, точно так же обстоит дело, когда мы сознаем что-нибудь с большей или меньшей степенью вероятности, т. е. когда мы испытываем чувство уверенности или вероятности. Большая неясность, лежит в основе приведенного Липпсом примера: «я испытываю чувство грусти». Сущность этого примера составляет как будто собственно аффект. Но в действительности это выражение обозначает лишь процесс внутреннего познания, что человек грустен, восприятие внутреннего состояния, осознание печального настроения. То, что мы обозначаем словом «чувство», имеет то же самое содержание, когда я чувствую себя радостным, а не грустным — аналогично тому, как процесс восприятия, как таковой, остается одинаковым независимо от того, вижу ли я кошку или собаку.

Все это мы обозначаем в дальнейшем термином «интеллектуальные чувства» не только потому, что термин этот был создан Наловским, но и потому, что практика языка упорно обозначает словом «чувство» эти понятия. При этом мы должны лишь уяснить себе, что такого рода чувства не относятся к аффективности и что этим термином мы обозначаем интеллектуальные, т. е. объективные процессы. При «интеллектуальных чувствах» речь всегда идет о неясных восприятиях, выводах и познаниях (напр., диагноз, основанный на чувстве); далее, о внутренних восприятиях (например, чувство уверенности). Оба эти вида интеллектуальных чувств не могут быть *in concrete* столь точно отграничены друг от друга, как мы могли бы ожидать этого на основании теоретических предпосылок. Так, например, мы чаще всего говорим о «чувстве уверенности», когда эта уверенность базируется на неясном выводе или на неясном восприятии. Хотя это выражение само по себе обозначает скорее внутреннее восприятие, однако мы обычно употребляем его лишь тогда, когда оно включает в себе неопределенное познание внешней ситуации.

Интеллектуальные чувства в соединении с аффектами играют иногда очень большую роль. Я уже указал на то, что женщины в своих действиях руководствуются в большой мере этими чувствами, но мы не должны забывать, что при повседневных решениях в нашей жизни мы не располагаем ни временем, ни

возможностью выяснить себе все побудительные мотивы наших действий. Во время дискуссии вряд ли можно представить себе все детали того, что именно хочет противник и каков наилучший путь одержать победу над ним. Мы отвечаем ему раздраженно, любезно, снисходительно — смотря по интеллектуальному чувству. Робость, смесь неопределенного познания, что кто-нибудь из присутствующих может причинить нам вред, вместе с соответствующим аффектом, полностью руководят иногда действием и мышлением ребенка. *Разумеется, иногда чувства с их торможениями и путями, проложенными ими, частично или полностью заменяют логику, вследствие чего осуществляется «инстинктивное» действие.* (Ср. ниже примеры таких реакций у детей.)

Таким образом, слово «чувство» обозначает не только в вульгарном понимании, но и в психологии весьма различные вещи, а именно:

1. Множество *центрипетальных процессов*, ощущений, восприятия (чувство тепла, физические чувства).

2. *Интрацентральные процессы восприятия:*

а) касающиеся бытия вне нас (чувство уверенности, вероятности),

б) касающиеся бытия в нас самих (чувство печали; *sentiment de cecite*).

3. *Неопределенное или неясное познание*, — будь то непосредственное восприятие или вывод, который неясен или бессознателен в своих элементах (§§2 и 3 объединены под названием «интеллектуальные чувства»).

4. *Чувства удовольствия и неудовольствия, которые мы должны отнести к аффектам, к аффективности.*

§§ 1—3 представляют собой процессы познания, которые отличны от аффективности и которые не должны смешиваться с этим понятием.

Это подразделение не является только чисто академическим. Благодаря ему мы имеем возможность изучить влияние аффективности, потому что *лишь аффективность в этом узком смысле имеет определенное влияние на тело и на психику*, в то время как отграниченные от нее функции сами по себе имеют лишь значение какого-то другого уверенного или неуверенного познания.

«Чувствую» ли я свой кишечник или нет, испытываю ли я

чувство «уверенности», «недоверия» или нет — все это безразлично для моей психики, пока к этому не присоединяется аффект. Если же возникает аффект, он тотчас овладевает всей психикой.

Мы зашли бы слишком далеко, если бы стали перечислять все явления, обусловленные аффективностью. Я хотел бы привести здесь лишь некоторые практически важные симптомы.

Прежде всего, следует отметить, что аффективность является общей реакцией всей психики и, кроме того, она оказывает влияние на целый ряд физических функций. Общеизвестно влияние аффективности на сердце, вазомоторы, мышечный тонус, обмен веществ, слезные железы, пищеварительные железы, на всю гладкую мускулатуру и т. д. Следует также вкратце упомянуть о формальных влияниях аффективности на психику. Все эйфорические состояния, независимо от того, являются ли они реакциями на приятные события или же они обусловлены физически, вызывают в общем более легкое течение всех психических процессов. Движения, решения, мышление протекают быстрее; мышление становится более содержательным и красочным, но в то же время более поверхностным в смысле скачки идей. Колебания настроения даже при смене переживаний также становятся многочисленнее и интенсивнее. При депрессии течение мыслей и движения становятся медленными, переход от одной идеи к другой затруднен; мышление вращается в одном небольшом кругу, содержание которого составляют почти исключительно депрессивные идеи. Смена идей и переживаний вызывает лишь небольшие колебания в кривой аффекта.

Для психопатологии особенно важно влияние аффективности на внутреннюю связь ассоциаций идей.

Укол в палец заставляет меня одернуть руку. Если я при этом пугаюсь, все тело откидывается назад. Если я прихожу в гнев, все тело готовится к нападению. Но не одно только тело. Если я пугаюсь (потому, например, что при ощущении укола я подумал об укусе змеи), то все соображения, могущие затруднить мое бегство, более или менее подавляются; мысль о бегстве остается единственно доминирующей. Придя в гнев, я начинаю драться, даже если это неуместно; в этот момент я считаю, что имею на это право.

Таким образом, аффект тормозит все те ассоциации, которые противоречат ему, и способствует возникновению тех ассоциаций, которые ему соответствуют.

Само собой разумеется, что вследствие этого повышается моментальная сила данного действия (даже в том случае, если

действие это отрицательное и представляет собой застывание в данном положении).

Таким образом, каждый аффект имеет тенденцию проявиться и увлечь за собой в определенном направлении всю психику. Боль должна привлечь к себе внимание — для того, чтобы прекратить вред, причиняемый нашему организму. Связанная с удовольствием охота, доставляющая первобытному человеку пропитание, не должна быть нарушена другими стремлениями или какими-нибудь сомнениями. Влияние, тормозящее или способствующее возникновению ассоциаций, является одной лишь стороной тенденции аффектов к проявлению. Эта тенденция находит свое выражение также и в других симптомах, которые будут описаны в дальнейшем.

При сложных соотношениях каждое отдельное переживание может быть окрашено несколькими различными чувствами (ср. также «амбивалентность»); прежде всего, различные влечения, а вместе с тем и различные аффекты могут одновременно стремиться к проявлению. Из этого вытекает борьба между аффектами, которая приводит иногда к внутренним конфликтам, а нередко и к болезненным симптомам.

Еще важнее отметить, что в самом аффекте неудовольствия существует противоречие между общей тенденцией аффекта к проявлению и частным стремлением избежать неудовольствия. По самой природе этого аффекта мы защищаемся от переживаний, связанных с неудовольствием, и от самого неудовольствия. В области внешних переживаний это не представляет для нас трудностей. Именно то, что неприятно в каком-нибудь событии — боль — заставляет нас защищаться от этого события. Если это нам удастся, то этим исчерпывается данный процесс. Но если речь идет о представлениях, окрашенных неудовольствием, то, с одной стороны, они имеют тенденцию навязываться нам, а, с другой стороны, наша психика стремится освободиться от них. Обе тенденции пользуются в своей борьбе одинаковыми средствами, т. е. торможением и способствованием возникновению ассоциаций, воздействием на ценность представлений, а также иррадиацией на другие представления и т. д. Из этих механизмов наибольшее значение имеет подавление какого-нибудь невыносимого представления, независимо от того, тормозится ли оно полностью в своей функции или же оно не допускается (вытесняется, отщепляется) к ассоциации с нашим сознательным Я. Поскольку нам известно, патогенным влиянием обладает только такое вытеснение, при котором окрашенные неудовольствием и в особенности амбивалентные представления не подавляются, а только отщепляются, так что они продолжают функционировать, хотя они и остаются бессознательными для индивида. Их бессознательное существование выявляется, между прочим, и в

том, что они оказывают влияние на наши мысли и действия незаметно для нашего Я или вызывают мимические проявления, не соответствующие сознательному содержанию наших мыслей.

Психизмы более безразличного характера, сопровождающие аффективное переживание, часто уподобляются этому последнему вследствие того, что на эти психизмы «переносится» аффект; мы ненавидим то место, где мы пережили нечто неприятное для нас; наша ненависть направляется не только на оскорбившего нас человека, но переносится также и на случайных соучастников этого инцидента, фиксируясь на них надолго, иногда на всю жизнь; мы ненавидим человека, сообщившего нам плохую весть.

Благодаря этому перенесению (иррадиации) аффекта, влияние последнего на поступки индивида усиливается, конечно, в еще большей мере, и отклонения от установленного направления становятся весьма затруднительными.

Наряду с тем, что аффекты способствуют возникновению соответствующих им ассоциаций и тормозят противоположные, они повышают ценность соответствующих им ассоциаций и понижают ценность противоположных. Влюбленный не считает с недостатками любимой девушки. При оценке представления об этих недостатках последние кажутся ему слишком незначительными для логического вывода о том, что он должен порвать с ней отношения. Когда меланхолик думает о своих ресурсах и противопоставляет их своим долгам, он всегда чувствует себя разоренным, потому что он переоценивает значение своих долгов, в то время, как свои ресурсы он считает непрочными и недостаточными для погашения долгов, часто вопреки цифровым данным.

Далее, аффекты обладают свойством продолжаться дольше, нежели вызвавшее их событие. Какое-либо наслаждение оставляет после себя хорошее настроение в течение долгого времени; гнев часто переходит в ярость лишь спустя некоторое время после неприятного события. Если человек увидел нечто, возбуждавшее его аффекты и вызвавшее в нем желание добиться получения увиденного, то он будет стремиться достигнуть своей цели, даже если она не находится перед его глазами, и длительность его стремления будет прямо пропорциональна силе аффекта. Таким образом, аффективность определяет длительность наших действий.

Если аффективность способствует возникновению соответствующих ей представлений и переоценивает их, если однажды возникшее чувство переносится на другие представления, ассоциативно связанные с аффективным переживанием, если аффект имеет тенденцию продлить

соответствующее ему переживание, то это означает, что аффект стремится перейти в длительное настроение и придать таким образом всей личности единое («голотимное», см. далее) направление: радостное, грустное, раздражительное и т. д. Разумеется, наряду с этим переживание аффекта увеличивает его продолжительность и усиливает его аналогично другим отдельным факторам. Однако, настроение зависит не только от переживания, но также и от характера реакции, которая основана на предрасположении, а также на существующей в данный момент установке, на физическом состоянии, употреблении алкоголя, на циклотимных химизмах в области здоровья, как при маниакально-депрессивном психозе и т. д.

Различные стороны влияния аффекта, как-то: его выключающая сила, длительность воздействия на течение ассоциаций и т. д. — выявляются неодинаково по своей интенсивности.

Аффективность может казаться нам субъективно и объективно очень живой, и вследствие этого интенсивной, но в то же время она может лишь в очень небольшой степени оказывать влияние на поведение и мышление индивида. Влияние, оказываемое аффективностью на течение наших мыслей, выключающая сила, в данном случае сравнительно невелика, несмотря на все мимические проявления и на субъективно сильное ощущение возбуждения; или же длительность воздействия бывает очень слабой, так что в данный момент течение мыслей может быть нарушено, но, спустя короткое время, оно освобождается от влияния аффекта или попадает под влияние другого аффекта.

Влияние аффекта на течение ассоциаций часто приводит даже здорового человека (как мы это давно знаем) к неправильным, суждениям. При патологическом состоянии аффект порождает бредовые идеи, так как, благодаря наличию аффекта, логика оперирует исключительно односторонним и получившим неправильную оценку материалом. Результат мышления получается в данном случае столь же ошибочным, как и общий баланс, в который мы забыли бы включить все активы и в котором мы увеличили бы все долги на один или несколько нулей. Когда у маниакального больного постоянно возникают ассоциации, подчеркивающие ценность его личности, а противоположные ассоциации подавляются, то он неизбежно приходит к переоценке своей личности; эта переоценка может усиливаться до бреда величия. Если при этом ослаблена также и логика (как, например, у маниакального паралика), то больной может считать себя сверх-богом. В таких случаях общее настроение является тем фактором, который направляет мышление на ложные пути. Все возникающие таким образом бредовые идеи носят эйфорический или депрессивный характер, потому что такие длительные расстройства настроения являются физически обусловленными и поражают вследствие этого всю психическую структуру. Однако, для возникновения

бредовых идей имеют значение также и более вариабельные аффекты, присоединяющиеся к отдельным представлениям и не обуславливающие длительного расстройства настроения. Какое-нибудь определенное желание или страх перед чем-нибудь может видоизменить направление мысли. Таким образом, большая часть бредовых идей оказывается представлением об осуществленных желаниях или опасениях. Известное лицо может показаться враждебным или неприятным здоровому человеку. Последний мыслит в своих фантазиях это лицо мертвым. Он подавляет все представления, которые напоминают ему о существовании этого лица, и способствует возникновению представлений об его исчезновении. Таким образом, желание, возникающее нормально в виде представления: «Чтоб его черт побрал» — приобретает характер реальности, который подтверждается иногда галлюцинаторным восприятием. Таким же образом у больного формируются бредовые идеи.

Действие аффекта, возникающее таким путем из эмоционально окрашенных представлений, мы называем по Гансу Майеру кататимным. Действие же общих расстройств настроения, как, например, при маниакальном бреде величия или при меланхолических идеях самоуничтожения, мы можем обозначить как голотимное.

Аффективное способствование возникновению ассоциаций и торможение их легко вступает в конфликт с логически необходимыми ассоциациями. Этот момент резко выражен в патологических случаях, но встречается также (в меньшем, масштабе) в повседневной жизни здорового человека. В интересах правильности нашего миропонимания, ассоциации должны были бы осуществляться, следуя опыту и логическим законам. Но вместе с тем необходимо выявление наших (биологически обоснованных) инстинктивных стремлений. Разумеется, в мышлении невозможно строго разграничить оба вида ассоциативных путей. Аффективность также нуждается для своих мыслительных целей и операций в правильных (по содержанию) понятиях и правильных логических связях. Даже самый сухой ученый не может продуцировать чисто логически направленных ассоциаций, так как его ассоциации направляются в общем мыслительной целью в виде желания, по крайней мере, открыть истину, и он, сам того не замечая, отвлекается то в одном, то в другом пункте от строгой логической необходимости. Настоящее мышление представляет собой взаимодействие обоих принципов, причем аффективность определяет прежде всего цель мышления, а логика должна указать пути ведущие к этой цели; однако, аффективность часто отклоняет логику от определенных правильных путей или направляет ее по окольным, чуждым реальности путям.

Это нарушение логики аффектом в каждом отдельном случае

бывает довольно часто вредным моментом, Наши решения, принятые в состоянии аффекта, вполне правильно осуждаются. Главная цель воспитания культурного ребенка заключается в обуздании аффектов. В состоянии гнева, отчаяния, любви, мы совершаем много глупостей, которых не сделали бы в нормальном состоянии. Отрицательные аффекты — испуг, страх — часто делают нас безоружными и неспособными противостоять опасности. Но это — исключения, которые встречаются сравнительно редко. Правда, иногда и эти максимальные аффекты, даже если они выходят за пределы цели, могут быть полезны (сила отчаяния и т. д.); но к условиям нашей жизни приспособлены в первую очередь аффекты небольшой и средней силы, которые возникают ежедневно и ежечасно и которых мы в обычных условиях в большинстве случаев не замечаем. Как часто небольшая доза нетерпения помогает нам преодолеть препятствие; часто даже неприятный звук голоса достаточен, чтобы заставить нас отделаться от неприятного человека; дети, не знающие в большинстве случаев опасности, погибли бы, как только они были бы оставлены без тщательного присмотра, если бы их не удерживал от большинства поступков страх, порожденный неизвестными и неопределенными восприятиями.

И в более важных вопросах эффективность является тем фактором, который преодолевает препятствия. Мы стоим перед трудной задачей. До тех пор, пока мы ее рассматриваем равнодушно, мы не можем думать о том, чтобы приблизиться к ее разрешению. Препятствия кажутся нам слишком большими; нам кажется, что мы должны нарушить слишком много интересов, как своих собственных, так и чужих. Но вот мы начинаем увлекаться этой задачей, и она внезапно кажется нам единственно достойной осуществления; все остальные соображения забываются нами или оставляются без внимания; все духовные и физические силы направляются на осуществление окрашенной удовольствием цели, и таким образом — только таким образом — становится возможным достичь желанного. Ничто великое не может быть достигнуто без известной односторонности и прямолинейности.

Таким образом, точно говоря, одна только аффективность является активным элементом при наших действиях и наших ошибках. Логические рассуждения получают свою двигательную силу лишь благодаря связанным с ними аффектам. Есть много людей, которые точно знают, что им надлежит сделать, но которые не могут действовать, потому что им недостает соответствующих аффектов. Крайнее выражение этого момента мы видим у многих энцефалитиков, которые, несмотря на сохранность интеллекта, не в состоянии выполнить самых простых действий. Все влечения и инстинкты, поскольку мы их наблюдаем у себя или анализируем на основании поведения

животных, связаны с аффектами. Таким образом, аффекты связаны не только с познанием, но в гораздо большей степени с хотением или, правильнее говоря: аффективность есть более широкое понятие, одну лишь сторону которого составляют хотение и стремление. Аффективность, составляющая одно целое с нашими влечениями и желаниями, целиком направляет наше стремление. Логика, рассудительность оказывается при более детальном рассмотрении лишь прислужницей, которая указывает ведущие к цели пути и предоставляет необходимые для достижения цели орудия. Герри Кемпэбл мог с полным правом сказать: «Люди проповедуют то, что думают, а делают то, что чувствуют» Таким образом, само собой разумеется, что моральная ценность человека полностью зависит от его моральных чувств. Кому добро не кажется хорошим и приятным, кто не чувствует отвращения к злу, кто лишен чувства сострадания, тот поступает дурно даже в том случае, если логика подсказывает ему как в отдельных случаях, так и в общем поведении, что для него лучше было бы вести себя хорошо (моральный идиотизм).

В целом мы всегда стремимся к таким переживаниям, которые связаны с приятными аффектами. Мы избегаем, поскольку это возможно, переживаний, связанных с неудовольствием. Конфликты часто порождаются тем, что достижение одного удовольствия исключает достижение другого, что из двух зол надо выбрать одно и что приятное в данный момент часто является неприятным в будущем; все эти примеры и им подобные общеизвестны.

Однако, часто двойная окраска какой-нибудь идеи противоположными аффектами, амбивалентность, выявляется вполне непосредственно. Для невротиков и шизофреников обычным переживанием является любовь к кому-нибудь и вместе с тем ненависть. Некоторые матери относятся амбивалентно к своим детям; они любят их, потому что они родили их, и ненавидят их, потому что дети эти происходят от нелюбимого отца. Нормальный человек подводит обычно в таких случаях итог всем качествам и недостаткам. Он меньше любит человека из-за его недостатков, но все же любит; или же он внутренне отказывается от любимого существа, если качества последнего не компенсируют его недостатков. И если даже в подобных случаях остается «рана» или «рубец», то положение вещей так или иначе разрешается. У шизофреника же, наоборот, оба аффекта существуют наряду друг с другом, оба аффекта мучают его, он не может подвести общего итога; он высказывает бредовые идеи о смерти своего ребенка или даже сам убивает его, а потом проклиная себя в неподдельном чудовищном отчаянии за свой поступок; или же он делает все, чтобы соединиться с любимым, но покинутым им существом и вместе с

тем поступает так, что эта связь становится невозможной.

До Фрейда мы почти совсем не принимали во внимание тех механизмов, которые позволяют нам с помощью воздействия на психические процессы делать исполненные аффектов события по возможности более приятными или менее неприятными

Чем интеллигентнее и культурнее человек, тем меньше он живет настоящей минутой, тем важнее для него прошлое и будущее.

Прошлое остается частью нашего Я и заставляет нас считаться с собой. Нас радуют пережитые нами прекрасные минуты. Нас огорчает причиненная нам в прошлом несправедливость. Совершенное нами зло вызывает у нас угрызения совести и вынуждает нас заглаживать свою вину.

Однако, в большей мере мы руководимся будущим. Заботы и надежды определяют большую часть поступков, совершаемых в настоящем. Надежды и заботы распространяются на загробную жизнь, когда религиозный человек стремится уготовить себе место на небе; они выходят за пределы индивидуального, когда человек самоотверженно стремится обеспечить оставшихся после него близких людей. Но по существу каждый культурный человек стремится к тому, чтобы обеспечить себе будущность с возможно меньшими неприятностями; на достижение этой цели он затрачивает большую часть своих сил.

В патологических случаях и в сновидении антиципированные чувства приобретают особое значение, так как они вызывают осуществление желания в сновидении и в делириозном состоянии. Такие делирии встречаются часто не только при истерических состояниях. (Любящая женщина воображает себя в сновидении или в делириозном состоянии женой любимого человека).

Кроме делириозного состояния, изображающего ложное осуществление желания, существуют также истерические состояния, представляющие собой осуществление желания (Wunschhysterie). Желаемое может быть реализовано, если выявление его зависит от самого субъекта. Так, например, заключенный, который более или менее отчетливо представляет себе, что для него лучше всего было бы считаться душевно больным, заболевает душевной болезнью, но в таком виде, в каком он сам понимает душевную болезнь, например, Ганзеровским симптомокомплексом.

Весьма альтруистически настроенная дама крайне увлечена политическими программами. Ни ее силы, ни условия ее жизни не позволяют ей жить согласно с ее идеалами, но она говорит и

мечтает о них. Противоречие между словами и поступками, между идеалом и действительностью могло бы сделать ее смешной. Она может избежать этого, если будет больна. Воспользовавшись неудачной любовью, как поводом, она начинает страдать истерическими припадками и истерическими сумеречными состояниями, которые не поддаются, разумеется, никакому лечению, так как каузальная терапия, устранение этого противоречия, не представляется возможной. Такое «бегство в болезнь» является коренным механизмом большинства неврозов.

Гимназист, который хочет считаться одним из лучших учеников, не может справиться с этой задачей. Если бы он страдал головными болями, как, например, его товарищи А и Б, никто не мог бы требовать от него своевременной сдачи сочинения. Он начинает на самом деле страдать головными болями, вполне реальными и очень неприятными; они проходят лишь некоторое время спустя, когда он больше в них не нуждается.

Отец семейства получает травму во время железнодорожной катастрофы. Было бы ужасно, если бы он не мог больше заботиться о своей семье. Теперь ему, правда, уже лучше, но такие состояния могут давать впоследствии не только улучшение, но и ухудшение. Может быть ему, полуинвалиду, страдающему болями, придется перебиваться и жизни, с трудом добывая себе пропитание. Если ухудшение у него наступит впоследствии, никто не поверит ему, что оно является результатом несчастного случая. Если бы он сразу умер или сразу потерял трудоспособность! Адвокат говорит ему, что его трудоспособность, если оценивать ее вместе с процентами от капитала, составляет 80.000 франков. В случае инвалидности он может потребовать эту сумму и обеспечить таким образом свою семью навсегда. Разве же все это не указывает на то, что эта сумма понадобится ему? Разве у него теперь уже не нарушен сон? Работа утомляет его, в голове появляется давящая тяжесть. Его профессия связана с разъездами по железной дороге, а езда сопряжена у него с боязливостью и даже с припадками страха. Как хорошо и как необходимо было бы представить доказательства тяжелой болезни и получить 80.000 франков! И вот травматический невроз или психоз готов; в лучшем случае он может быть излечен лишь после благоприятного исхода судебного процесса.

Все вышеприведенные «желания» признаются индивидом не совсем ясно; механизм их реализации совершенно ускользает из его сознания; он действует *bona fide*.

Этим самым мы незаметно приблизились к области, которой мы посвятим отдельную главу, к области внушения, resp. самовнушения. Руководствуясь этими примерами и

предвосхищая исследование, мы можем сказать, что желание осуществляется, что самовнушение реализуется лишь с помощью чувства, аффекта с общеизвестными последствиями его.

Мы не можем изменить нашего прошлого. Но воспоминание о нем часто бывает связано с очень живыми положительными и отрицательными аффектами. Есть люди, которые живут исключительно воспоминаниями о прошлом счастье и чувствуют себя при этом вновь счастливыми. Горечь по поводу обиды, нанесенной нам в прошлом, раскаяние в совершенном нами дурном поступке, боль понесенной утраты могут отравить нам жизнь на десятки лет и даже превзойти собой актуальные страдания.

Еще менее изучены те пути, идя которыми мы стремимся сохранить чувства удовольствия, пережитые в прошлом, хотя изречение «*meminisse juvabit*» выражает издавна известное положение. По-видимому, воскрешению прошлого способствует больше всего такое соотношение, когда все внешние условия помогают нам активировать воспоминание и избегать в то же время других впечатлений. Так поступают люди, пережившие утрату близкого человека: они оставляют нетронутой комнату, в которой жил умерший, со всеми находящимися там вещами, чтобы иметь возможность жить там в уединении со своими воспоминаниями. Некоторые люди посещают те места, где им улыбалось счастье, чтобы оживить свои прежние чувства, утратившие свою яркость под влиянием других переживаний. Вероятно для этого имеются и другие психологические приемы, которых мы еще не знаем.

Многие неприятные события со временем выключаются из памяти или они лишаются своих аффективно неприятных элементов или же содержание их подвергается такой переработке, что соответствующий им аффект не является больше неудовольствием. Общеизвестно, что физическая боль (даже если мы вспоминаем о ней с содроганием после того, как мы ее перенесли) обычно вовсе не омрачает или мало омрачает наше воспоминание о ней по истечении некоторого времени. Боли, перенесенные матерью во время родов, в нормальных случаях забываются ею очень быстро. В жизни, как и в условиях лабораторного эксперимента, неприятные переживания вспоминаются с большим трудом, нежели приятные. В обычных условиях прошлое кажется нам на расстоянии более радостным. Общеизвестно, что старики всегда восхваляют прежние времена. В большинстве случаев из воспоминания выключаются или подвергаются переработке такие переживания, которые унижают нашу личность. Каждый из нас, перечитывая много лет спустя свой дневник, может констатировать, что многие значительные и маловажные события описаны в нем иначе,

нежели они сохранились в нашей памяти. Если даже мы принципиально сознаем причину этого искажения, то в отдельных случаях мы все же склонны считать свое изложение в дневнике ошибочным. В этих случаях более приятной оказывается обычно та версия, которая сохранилась в нашей памяти. Исключения из этого правила бывают обусловлены меланхолическим расстройством настроения, когда самоуничижение соответствует господствующему аффекту; в силу этого тяжелые воспоминания всплывают в преувеличенном виде, а многие безразличные или хорошие поступки перерабатываются в непростительные прегрешения. Однако, часто общее свойство аффектов, заключающееся в стремлении выявить себя и продлиться, оказывается препятствием для такого «забывания» неприятных переживаний. Есть много людей (обычно это субъекты с более или менее болезненным предрасположением), у которых, наоборот, всегда навязчиво возникают неприятные воспоминания (дисамнезия Фогта). В большинстве этих случаев речь идет об особых соотношениях, главным образом об амбивалентной эмоциональной окраске переживаний. (Однако, природа этих переживаний обычно не осознается). Так, например, мать не может успокоиться после смерти ребенка, упрекает себя в том, что она является виновницей его смерти, несмотря на то, что она слишком даже заботливо ухаживала за ним. В таких случаях обычно имеется враждебное отношение к мужу: под влиянием этого чувства мать не только не боялась, но даже хотела смерти ребенка. Или же человеку было нанесено какое-нибудь оскорбление, но он бессилён осуществить свою потребность в удовлетворении, вследствие чего воспоминание о нанесенном оскорблении сохраняет свою остроту в течение долгого времени.

В патологических случаях весьма ясно видно, что эффективность обладает известной самостоятельностью в отношении к процессам познания, что аффекты могут отщепляться от вызвавших их интеллектуальных процессов и присоединяться к другим интеллектуальным процессам. Издавна известно, что аффекты могут иррадиировать и присоединяться от одних психических переживаний к другим, которые ассоциируются по времени или по содержанию с эмоционально окрашенным процессом. Таким образом какое-нибудь неприятное, но скоропреходящее происшествие утром может испортить нам настроение на весь день. Эротический аффект, относящийся первоначально к любимой женщине, может перейти на бант, который она носила на груди. Такие перенесения аффектов приводят при некоторых конституциях к фетишизму.

Кроме того, определенная самостоятельность эффективности в сравнении с интеллектуальными процессами сказывается также и в том, что одни и те же ощущения, одни и те же процессы переживания могут меняться в зависимости от

интеллектуального или аффективного или даже физического состояния. Сытому какое-нибудь блюдо кажется гораздо менее вкусным, нежели голодному, а иногда оно вызывает даже отвращение; когда мы настроены плохо, нас раздражает та самая музыкальная пьеса, которую мы при других условиях выслушали бы с удовольствием; когда мы утомлены, какое-нибудь световое раздражение, которое доставило бы нам при иных условиях удовольствие, вызывает в нас неудовольствие.

В действительности речь идет, конечно, не о различных реакциях одного и того же аппарата на одинаковые раздражения. Образ съестного блюда никогда не содержится в нашей психике сам по себе. Наоборот, содержание нашего сознания состоит из целого ряда отдельных факторов, из которых одинаково важны общая ситуация, состояние насыщения или голода и т. д. Таким образом, наше психическое содержание, когда мы едим жаркое, будучи голодными, не таково, как тогда, когда мы сыты. Эмоциональная реакция вызывается не только видом и вкусом жаркого, но она соответствует всему психическому содержанию, существующему в тот момент. Само собой разумеется также, что один и тот же аффект не при всяких условиях относится к отдельным парциальным ощущениям; в действительности аффект относится ко всей совокупности психического содержания. Таким образом, отнюдь не следует предполагать, что эстетическое наслаждение от красивой картины может быть «разрушено» неприглядной окружающей обстановкой. В нашей психике вид картины и вид окружающей обстановки составляет одно целое, а этому целому не соответствует какой-либо неприятный аффект. Удовольствие, испытываемое нами при исполнении какой-либо музыкальной пьесы, тоже не является тем аффектом, который соответствует одной только музыкальной пьесе. Это удовольствие вызывается музыкальной пьесой плюс наша нервная и психическая установка. Таким образом, наш аффект является реакцией не на одну лишь музыкальную пьесу — подобно тому, как вид ножа в обычных условиях вызывает у нас одну реакцию, но этот же самый нож в руках подозрительного субъекта в глухом лесу может вызвать у нас очень сильный страх.

Большая вариабельность аффективных реакций на одни и те же интеллектуальные процессы у разных людей свидетельствует о том, что аффективность вообще зависит в первую очередь не от переживаний, как таковых, а от реакции индивида; даже в столь элементарных функциях, как принятие пищи, вкус меняется от одного человека к другому. Различие так велико, что у нас нет собственно никакого критерия для определения того, что нормально и что болезненно. По понятиям немецкого государственного права даже полное отсутствие нравственного чувства (т. е. эмоциональной окраски нравственных понятий) не

считается патологическим явлением.

Совершенно иначе обстоит дело с интеллектуальными процессами, к которым мы относим также «интеллектуальные чувства» в вышеописанном смысле. Хотя последние, как более субъективные реакции, более вариабельны, нежели первичные интеллектуальные процессы ощущения, восприятия и т. д., но, тем не менее, они не могут быть поставлены с один ряд с формальными логическими способностями. Каждый должен считать красный цвет красным, рассматривать кошку как кошку и называть вещи так, как их называют другие. Наше восприятие в пределах нормы дает очень небольшую амплитуду колебаний, логическая реакция дает немного большую амплитуду, и в тех случаях, где эти функции нарушены даже в минимальной степени, отклонение от нормы будет немедленно замечено даже непосвященным человеком. Парафункции этих процессов (галлюцинации и бредовые идеи), даже если они выражены очень слабо, рассматриваются уже как болезненные явления, тогда как при аффективности во многих случаях вообще нельзя провести границы между парафункцией и нормальной функцией. Так, например, эстетические чувства, вызванные одними и теми же воздействиями, могут выявиться у одного человека в положительном направлении, а у другого — в отрицательном.

Точно также нет связи между отчетливостью чувств и отчетливостью интеллектуальных процессов. Напротив, неясные процессы (как, например, интеллектуальные «чувства») часто сопровождаются очень живыми аффектами.

Развитие интеллекта также не соответствует ни в каком направлении развитию аффективности. Аффективность уже вполне выражена у маленького ребенка; у него имеются уже все аффекты, встречающиеся у взрослого. (Одно лишь половое различие может принести новые аффекты. Само собой разумеется, что во время полового созревания половые ощущения обогащаются, но я сомневаюсь (так же, как и другие), чтобы при этом возникало нечто принципиально новое). В противоположность этому интеллект новорожденного не имеет никакого содержания, и в течение долгого времени логические процессы остаются у него сравнительно бедными. Тот, кто в интеллектуальном отношении остается на уровне развития ребенка, считается идиотом. Тот же, кто сохраняет аффективность ребенка, не менее богат одарен чувствами, нежели здоровый человек. Разница заключается лишь в том, что у ребенка чувства живее, лабильнее и менее контролируются интеллектом.

У взрослого человека самые живые чувства — например, в эстетической области — могут сочетаться с глупостью и, наоборот, сверхнормальное развитие интеллекта может

сочетаться с отсутствием таких аффектов. «Моральность», т. е. аффективная окраска моральных понятий также совершенно независима от развития моральных понятий как таковых. Известная инстинктивная или эмоциональная моральность (как, например, любовь, способность к самопожертвованию) часто наблюдается даже у глубоких идиотов, в то время как соответствующие представления почти совершенно отсутствуют у них. Эти случаи можно противопоставить моральному идиотизму, они могут послужить убедительным аргументом для тех, кто удивляется существованию морального идиотизма, несмотря на то, что в других областях они признают независимость аффективности от интеллекта.

Независимость аффективности доходит до того, что аффекты и, главным образом, настроения могут возникать без интеллектуального «субстрата», исключительно из физических состояний. Болезни желудка могут вызвать угнетенное настроение духа; недостаточность сердечных клапанов — боязливость; туберкулез легких — эйфорию, подобную тому как она возникает при здоровом состоянии всех органов. К нервным ядам и прежде всего к алкоголю люди прибегают вследствие их воздействия на аффективность.

Точно также и настроение духа у здорового человека регулируется химическими, т. е. гормональными влияниями. По общепринятым представлениям приятное переживание обуславливает аффект радости не только чисто психическим путем, но и благодаря выделению соответствующих гормонов. Настроение или склонность к определенным аффектам находится в зависимости также и от химических соотношений в организме.

Таким образом мы уже теперь можем предположить, что колебания настроения при маниакально-депрессивном психозе могут возникать как изнутри (физическим, гормональным путем), так и вследствие внешних переживаний, т. е. психическим путем. Мы имеем здесь дело с функциональными кругами, как и при многих физиологических механизмах: психический процесс рождает чувство удовольствия; под влиянием удовольствия в психической области прокладывают себе путь представления, окрашенные удовольствием, и тормозятся представления, окрашенные неудовольствием; вследствие этого аффект удовольствия усиливается; в физической области — в известных пределах — происходит усиленное выделение гормонов удовольствия, которые с своей стороны тоже усиливают этот аффект. Первоначальный исходный пункт причины, вызывающей болезненное расстройство настроения, может лежать как в физической области (т. е. повышенном продуцировании гормонов удовольствия или пониженном продуцировании гормонов

неудовольствия), так и в каком-либо аффективном событии.

Известная самостоятельность аффективных побуждений сказывается также и в том, что они ассоциируются независимо от сопровождающих их интеллектуальных процессов; эта особенность их лежит в основе некоторых болезненных реакций. Мы наблюдаем даже у здорового человека, что однажды пережитый аффект снова возникает впоследствии с силу одной лишь ассоциации при аналогичных условиях или при возбуждении аналогичного аффекта.

Различные, но сопровождающиеся аналогичными аффектами события ассоциируются непосредственно, как если бы они были связаны интеллектуальными звеньями. Аффект часто «штампуются» при первом своем появлении, т. е. он сохраняет в течение всей жизни свой первоначальный оттенок. Часто аффективная установка в отношении к отцу, например, привносится из самого раннего детства и продолжает существовать при совершенно иных условиях; она может даже переноситься на старших друзей и на образ Господа Бога. И у взрослого человека новое событие часто окрашивается чувством, которое по своему характеру и силе относится к предшествовавшему событию, хотя новое событие само по себе должно было бы сопровождаться аналогичным, а не тождественным аффектом. Поэтому нередко бывает так, что человек обнаруживает очень сильную реакцию на событие, которое само по себе незначительно, так как аффекты, относящиеся к прежним переживаниям, продолжают оказывать свое действие, суммируясь нередко с новыми аффектами. В данном случае последнее переживание, вызывающее новый аффект, является той каплей, которая переполняет чашу. При патологических условиях аффективная травма (например, испуг) может привести к тому, что человек становится все чувствительнее к событиям, могущим вызвать страх, и что у него возникает в конце концов стойкая невротическая установка не только в виде тяжелых аффективных вспышек, но и в виде сумеречных состояний и т.д. Особенно опасны в этом отношении неотреагированные аффекты.

В последнее время типы, описывавшиеся выше чисто симптоматически, приведены Кречмером в связь с физической конституцией, и таким образом изучение их получило новую базу. Дискуссия по этому вопросу, разумеется, далеко еще не закончена. По этому поводу можно сказать пока следующее: Кречмер нашел, что среди маниакально-депрессивных больных преобладает определенный физический тип, бросающийся в глаза своей склонностью к тучности («пикники»), среди шизофреников преобладают астенические, атлетические и диспластические формы. Эти типы он проследил в сфере психики у здоровых людей, назвав их шизотимными и

циклотимными (синтонными) типами, у которых строение тела и психическая конституция в общих чертах также соответствуют друг другу. В противоположность осторожным выводам Кречмера другие авторы пытались разделить всех людей на два эти противоположные друг другу типа. Некоторые стали даже утверждать, что Кречмер хотел подразделить все человечество на эти два типа. Но сам Кречмер этого не утверждал, и это было бы неверно. На мой взгляд, в психической области речь может идти о двух формах реакции как интеллектуальных, так и аффективных, которые встречаются у каждого человека, но бросаются в глаза лишь тогда, когда они развиты односторонне или выражены особенно сильно. Они не противоположны друг другу и в тоже время механизм их заложен в различных психических инстанциях. Один и тот же средний человек может обнаружить синтоническую или шизоидную реакцию, смотря по обстоятельствам. При этих условиях мы должны найти причину того, почему эти формы реакции выделяются как отдельные понятия, а не рассматриваются просто как различные реакции одной и той же психики. Первым поводом к этому служит то обстоятельство, что они представляют собой поддающиеся разграничению и сами по себе варьирующие психические особенности, количественные соотношения которых характеризуют нормальную конституцию и чрезмерное усиление которых создает определенные типы болезней. Затем очень важно, что характер и сила обеих этих особенностей являются наследственными комплексами в каком-то пока недостаточно изученном смысле, вследствие чего они представляют собой удобные отправные пункты для изысканий в области наследственности. Разумеется, у человека имеются не только два вида таких особенностей. Так, например, д-р Минковская (1923) предполагает, что существует также и эпилептоидия, т. е. определенный вид нормальной реакции, которая находится в таком же отношении к эпилепсии, как шизотимия к шизофрении. Шизотимия и синтония описывались до сих пор главным образом как аффективные качества. Но они связаны также с особенностями в течении мыслей, эти особенности всегда бросаются в глаза в виде странностей в случаях ясно выраженной шизоидии и наблюдаются в карикатурном виде у шизофреников. У выраженных шизоидов отмечается, например, более сильная склонность к абстракции, нежели у циклотимиков, и большая стойкость элементарных психических функций в сенсорной и моторной области. Таким образом, термины «шизотимический» и «циклотимический» слишком узки; это относится в большей мере к последнему термину, потому что у многих людей, которых Кречмер называет циклотимиками, вовсе не наблюдается длительных колебаний настроения (а именно у здоровых людей, и нередко также у психопатов и душевнобольных этого типа). Многие психопаты бывают всю жизнь более и менее депрессивны (часто даже вполне равномерно); другие никогда не бывают депрессивны, но

всегда находятся в состоянии легкого маниакального возбуждения.

Следовательно, термины «шизотимический» и «синтонический» герсп. «циклотимический» характеризуют особенности как в области интеллектуальных процессов, так и в области аффектов; кроме того, «циклотимики», равно как и здоровые люди, называемые «синтониками», не должны быть подвержены аффективным колебаниям в смысле циклотимии, как ее понимали до настоящего времени.

Шизотимическая и синтоническая (циклотимическая) форма реакции могут быть выражены более или менее резко. У нормального среднего человека мы отнюдь не замечаем, чтобы он реагировал, в зависимости от обстоятельств, то шизотимически, то синтонически. Если одна из этих форм реакции выражена особенно сильно, но не носит еще патологического характера, то мы имеем дело с шизоидными и циклоидными типами, с шизоидней и циклоидией как личными особенностями. Когда мы хотим подчеркнуть, что психопатическое предрасположение выражено особенно сильно, мы говорим о шизопатиях и циклопатиях. Некоторые оригиналы относятся к шизопатам, циклотики в старом смысле слова и люди с привычной маниакальной или депрессивной окраской характера относятся к циклопатам. Когда усиление этих реакций доходит до психотических проявлений, тогда наступает шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. При современном состоянии наших знаний переходы от одной из этих искусственно отграниченных градаций к другой — весьма расплывчаты. Кроме того, мы не имеем представления, отличаются ли эти градации между собой качественно или же только количественно. Таким образом, мы имеем постепенный переход от незаметной шизотимической реакции среднего человека к более резко бросающейся в глаза шизоидии, которая остается еще, однако, в пределах здоровой психики, а затем дальнейший переход от шизопатии, которая считается уже аномальным состоянием, к шизофреническому психозу.

Возможно, что к шизоидному предрасположению должен присоединиться еще какой-то новый фактор — для того, чтобы наступила собственно шизофрения со свойственными ей анатомическими изменениями в мозгу, согласно нашим современным знаниям это предположение необязательно при наличии всевозможных расплывчатых переходов от одной градации к другой. Подобно тому, как выраженный пикник может отличаться склонностью к болезненному ожирению, резко выраженный шизоид может обнаруживать склонность к дегенерации мозга, которую мы рассматриваем как анатомический субстрат шизофрении. Достоверно лишь то, что при каких-либо органических нарушениях мозга и инфекциях

(паралич, лихорадка) резко выраженные шизоиды легко обнаруживают симптомы, которые рассматриваются до настоящего времени как шизофренические, а резко выраженные синтоники обнаруживают маниакально-депрессивные симптомы. Вне ясно выраженного душевного заболевания очень часто встречаются также смешанные усиленные или карикатурные формы обеих видов реакции. Выраженный шизоид может быть в то же время выраженным синтоником. Оба типа не имеют ни положительной, ни отрицательной корреляции, не являются, следовательно, противоположностями и не исключают друг друга; они существуют совершенно независимо наряду друг с другом и самых различных комбинациях, подобно тому, как длина волос не зависит от их цвета, или подобно тому, как математические способности не зависят от охриплости голоса. Унаследованная от матери равномерная эйфорическая синтония выразилась у Гете в циклотимических колебаниях.

Унаследованная от отца шизопатия сказалась в его способности замыкаться в себе, в склонности попросту игнорировать неприятные переживания; и обе эти особенности, вместе взятые, в соединении с необыкновенно развитым интеллектом создали из него поэта, который рассматривал весь мир в новом свете, усматривал новые соотношения в нем, отражал и постигал его со всей теплотой своей личности.

Миф о противоположности обоих типов поддерживается в силу того, что в физической области астеническая конституция, обнаруживающая сродство к шизофрении, и пикническая конституция, обнаруживающая сродство к циклофрении, являются как бы противоположностями, исключаящими друг друга. Однако, мы приходим уже к тому выводу, что необходимо различать оба типа также и в случаях смешанной физической конституции, несмотря на то, что человек не может быть одновременно толстым и тонким в противоположность одновременному наличию черт шизоидии и синтонии или шизофрении и маниакально-депрессивного психоза.

Синтоническая реакция заключается в том, что переживание постигается аффективно (а также интеллектуально) с одной только стороны, и в большинстве случаев с той именно стороны, которая является обычной в человеческих отношениях, — в том, что вся наша личность, как нечто цельное, обнаруживает при этом голотимную реакцию. Синтоническая реакция — это либо целиком радость, либо целиком грусть. Ее аффекты однородны — объективно и субъективно. Шизоиду, наоборот, очень трудно цельно воспринять какое-нибудь переживание. Он видит в последовательной смене и сосуществовании одних и тех же вещей, одного и того же переживания различные стороны, принимающие в легких случаях дисгармоническую, одностороннюю форму, а в тяжелых случаях — карикатурную форму. Этому соответствует и аффективная окраска, которая

отличается своей неоднородностью. Несколько аффектов могут одновременно или последовательно окрашивать одно и, то же представление; при этом аффект бывает неясным, причудливым; неоднородный характер его приводит к тому, что различные стремления вступают в борьбу друг с другом: в силу этого дело доходит до вытеснения и исключения активных функциональных комплексов; исходя из бессознательного, они вызывают невротические и шизофренические симптомы.

В виду всего этого мы имеем много оснований предполагать, что неврозы основаны на тех же самых психических особенностях, что и шизофрения, но только при них отсутствуют анатомические изменения мозга, встречающиеся при шизофрении. Разграничение двух этих болезненных форм было всегда очень трудным в тех случаях, когда психотическое изменение психизмов не обеспечивало диагноза, а с начала этого столетия мы знаем, что доступные нашему пониманию психопатологические механизмы одинаковы при обеих болезненных формах. За это говорит также и наследственность. Таким образом, там, где мы имеем дело с отщеплением, вытеснением и передвиганием аффектов (а не просто с иррадиациями), мы говорим о шизопатии, и нет ни одного невроза, который в сущности не базировался бы на этих механизмах. При истерии мы видим шизоидную аффективность со склонностью к исключениям, но в то же время аффективность лабильную, дающую маниакальные вспышки настроения с тенденцией к переоценке собственной личности. Излишне, конечно, говорить о том, что картина болезни или «синдром», который мы называем истерией, вполне соответствует нашему предположению. Само собой разумеется, что более депрессивные, менее энергичные натуры с шизоидней создают себе конфликты несколько иного характера: но суть заключается в том, что в случае краха они выпячивают не себя и не свою болезнь, а просто нагромождают гораздо более однообразные и в силу этого более однородные от случая к случаю синдромы. Они являются неврастениками. Больные, страдающие неврозом навязчивости, это — чрезмерно совестливые люди, которые переходят к действию лишь после долгого размышления и которые, собственно говоря, не хотят даже активно действовать. Их аффективность также имеет депрессивную окраску, но с другим оттенком, нежели при неврастении. Этот оттенок до настоящего времени не может быть формулирован достаточно удовлетворительно.

Мы сравнили присоединяющийся при шизофрении мозговой процесс с его последствиями — с болезненным ожирением. Мы хотели бы еще раз напомнить об этом, несмотря на существенное отличие в случае резко выраженной картины болезни, в виду того, что мы должны констатировать большую переходную зону между здоровьем, шизопатией или неврозом, с

одной стороны, и шизофренией, с другой стороны. Это отличие так же велико, как между хорошей упитанностью и ожирением. В остальном частая «дисплазия» у шизофреников и столь же частое заболевание шизофренического характера у диспластиков должно быть, по-видимому, истолковано в том смысле, что шизофренический мозговой процесс особенно легко возникает в ослабленном мозгу. Можно было бы также предположить, что у шизоидных людей к благоприобретенным заболеваниям мозга как, например, прогрессивный паралич, присоединяется еще шизофренический процесс («кататонический паралич»).

Когда один из обоих компонентов усиливается вплоть до психоза, а второй компонент тоже сильно развит, мы имеем смешанные формы маниакально-депрессивного психоза с шизофреническими симптомами и более часто встречающиеся случаи шизофрении с маниакально-депрессивными периодами. Такие смешанные формы безусловно встречаются часто, но возникает вопрос, действительно ли вся эта симптоматическая картина является смешанной формой и не может ли шизофренический процесс сам по себе вызвать такие маниакальные и меланхолические расстройства настроения. Точно также в каждом отдельном случае мания и меланхолия, с одной стороны, и шизофренический синдром, с другой стороны, имеют совершенно особые и совершенно независимые друг от друга прогнозы. Я могу подтвердить, что у пикнических шизофреников сохраняется лучший контакт с окружающей средой, нежели у других шизофреников.

Все вышесказанное об обоих типах реакций сводится исключительно к тому, чтобы резюмировать наши современные знания по этому вопросу. Но в виду того, что это резюме оказывается слишком простым для столь сложных вопросов, я сам еще не уверен в нем, несмотря на то, что при всем старании я ни в чем не находил противоречия своим взглядам, а только новые факты, которые в своей совокупности подтверждали правильность моей концепции.

Так как аффективность допускает несравненно большие индивидуальные колебания, нежели интеллектуальные функции, то и противодействие неприятным чувствам весьма различно — в зависимости от личности и от обстоятельств. По всей вероятности, мы придем к созданию целого ряда типов, соответствующих в более утонченной форме тому, что старые авторы называли темпераментами. Теперь же я хочу изложить свое понимание этого вопроса.

Многие люди, которые должны быть отнесены приблизительно к классическим сангвиникам, реагируют на эмоциональные впечатления быстро и интенсивно, аффект быстро исчезает. Как

только буря улеглась, эти люди становятся такими же, как прежде. Создается такое впечатление, как будто они отреагировали аффект с помощью внешней реакции, с помощью радости, плача, брани или драки.

Но если аффект по какой-либо причине подавляется вопреки естественному предрасположению, то он приводит (при условиях, которые в настоящее время не поддаются еще определению) к передвиганиям и конверсиям в смысле патологической реакции Фрейда. Запоздалое отреагирование может затем при известных условиях исцелить болезненный симптом, состоящий из конвертированного аффекта.

Люди с другой установкой или те же самые люди, если им приходится испытывать неудовольствие иного порядка (а именно — при уязвлении чувства собственного достоинства), с самого начала не относят этот неприятный аффект ко всей своей личности в целом. Они отщепляют его вместе с большим комплексом своего Я от всей личности. Думая о таких вещах, которые не имеют ничего общего с этим аффектом и с вызвавшими его интеллектуальными процессами, они могут быть совершенно нормальны. Аффект для них не существует, но и соответствующие процессы познания тоже ими не ассоциируются. Целый любовный роман, закончившийся неудачей, со всеми ассоциациями комплекса Я, связанными с ним, может быть как бы выключен из данной личности. Однако, он может проявляться в бессознательных действиях, которые обнаруживают еще связь с переживанием этих любовных отношений. Так, например, одна пациентка, возлюбленный которой застрелился, забыла это переживание, но во время какого-то индифферентного разговора она стала бессознательно давить на своем виске лепестки розы, производя при этом небольшой треск. Можно было бы доказать, что это действие явилось следствием воспоминания.

Но когда заходит речь об этой любовной истории или о чем-либо ассоциативно с нею связанном, аффект немедленно возобновляется, а вместе с ним и воспоминание обо всем пережитом.

Само собой разумеется, что подобные типы, если они достаточно выражены, предрасположены к истерическим сумеречным состояниям — вследствие того, что отщепленная аффективная личность часто располагает слишком немногими ассоциациями, соответствующими действительности, и перерабатывает действительные переживания в смысле аффективного комплекса идей.

У другого типа людей аффекты развиваются медленно. Необходим большой промежуток времени для того, чтобы они

достигли большой высоты, но зато эти аффекты существуют в течение долгого времени. При этом дело доходит лишь изредка до живых эмоциональных проявлений; аффект „заглушается“. Такие люди ограждают себя от влияния неприятных аффектов тем, что они не думают о соответствующем переживании. Разумеется, это достигается лишь таким путем, что человек избегает по возможности ассоциативного присоединения этого неприятного события. В данном случае он так направляет свое мышление и свои действия, чтобы ничто по возможности не напоминало ему это неприятное событие и чтобы невольное воспоминание о нем, которое, несмотря на все это, возникает, оставалось лишь мимолетным и непродуманным и не имело таким образом возможности оживить аффект, обладающий меньшей подвижностью. Таким образом, аффект подавляется, но все же может быть ассоциирован. Неприятные события тоже доступны для воспоминания в любое время. Мы избегаем только вспоминать о них, но мы можем сделать это в любое время. Тяжесть в груди, ослабевающая с течением времени, интеллектуальное чувство, говорящее о том, что мы должны избегать известных ассоциаций (подобно тому, как мы избегаем известных движений при болезненных ощущениях в теле), всегда свидетельствуют о продолжающемся существовании подавленного аффекта. Если он снова становится актуальным в силу воспоминания, то он овладевает снова всей личностью, как в тот момент, когда он был свежим.

У этого типа возможно еще полное временное отщепление. Неприятное событие, которое не могло быть переработано и не могло быть также подавлено в силу того, что наше мышление было поглощено другой необходимой работой, мгновенно отщепляется и совершенно забывается. В то время, когда мы продолжаем нашу другую работу, в нашей сознательной психике нет ни представления о событии, ни вызванного им чувства. Они всплывают снова лишь впоследствии и проделывают затем свой путь к переработке и подавлению.

Когда удастся отщепление аффекта, но не удастся подавление его, так что он исчезает только из нашей сознательной жизни (а не из психической жизни вообще), тогда он часто «конвертируется». При соответствующих ассоциациях вместо аффекта возникает какой-нибудь физический симптом — боль, судорога или галлюцинация. Так, например, пациентка, описанная Риклином (*Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift*, 1904/05), ощущала боль в одном ухе, когда она одевала определенное пальто. В этом пальто она родила зимой в лесу внебрачного ребенка и испытала при этом сильную боль в ухе. Эта связь существовала для нее совершенно бессознательно. Пальто не напоминало ей ни о родах, ни о существовавшем тогда аффекте.

При шизофрении аффективные события превращаются в галлюцинации, бредовые идеи, стереотипии, все это облекается в большинстве случаев в скрытую символическую форму, в то время как первоначальный аффект, как таковой, уже не существует или становится рудиментарным.

Очевидно, есть много механизмов, дающих возможность избавиться от неприятных аффектов. Знание их значительно облегчает нам понимание симптоматологии больной и здоровой психики и дает нам вместе с тем важные опорные пункты для терапевтического вмешательства.

Среди эмоционально окрашенных переживаний, которые дают повод к таким явлениям, сексуальные переживания играют очень важную роль, хотя и не в такой исключительной степени, как это вытекает из теории Фрейда. Тот факт, что эти симптомы встречаются у женщин чаще, нежели у мужчин, имеет свои важные причины (независимо от того, что мнение о более резко выраженной сексуальности у женщин является преувеличенным), обычно вся «карьер» средней женщины связана с сексуальностью; в борьбе за существование она пользуется сексуальностью как средством. Для нее замужество является тем же или эквивалентом того же, чем для мужчины является движение по службе, его честолюбие во всех отношениях, счастливо завершенная борьба за существование, равно как и за наслаждение в жизни, и лишь к этому у него присоединяется еще сексуальность и радость отцовства. Женщина, которая не выходит замуж или живет внебрачной половой жизнью, вынуждена считаться с целым рядом важных последствий, имеющих очень интенсивную аффективную окраску. Для среднего мужчины то и другое абсолютно или относительно безразличны. При этом надо упомянуть еще о тех глупых ограничениях нашей культуры, в силу которых для благовоспитанной женщины становится невозможным даже внутреннее изживание в этой области и которые всегда требуют подавления самого сексуального аффекта, а не одних только проявлений его. Нужно ли удивляться тому, что при таких условиях мы наблюдаем у больных женщин на каждом шагу конвертированные подавленные и подвергшиеся передвиганию сексуальные чувства, а эти чувства составляют в общем, по крайней мере, половину нашего естественного бытия; я говорю — по крайней мере половину, потому что аналогичное влечение к пище, отступает, по видимому, перед сексуальным влечением на задний план, и не только у культурного человека, который при некоторых условиях вовсе не должен бороться за кусок хлеба или делает это лишь косвенным путем.

Одним из самых важных проявлений аффективности является внимание. Мы внимательны к таким процессам или вещам, которые нас „интересуют». (Странский справедливо считает, что

внимание = интересу, а этот последний соответствует чувству, составляя часть аффективности). Далее мы можем заставить себя направить внимание на что-либо другое, но мы всегда должны иметь для этого аффективное основание. В данном случае речь идет о косвенном удовлетворении интереса, например, когда мы читаем скучную книгу, потому что это необходимо для интересующей нас работы, или когда мы производим психологические опыты, результаты которых могут удовлетворить нашу жажду знания; произвольное внимание может иметь место также и в тех случаях, когда человек предпринимает что-либо для предотвращения неприятного или достижения приятного, как, например, при скучной работе, которую человек выполняет ради насущного хлеба или денег; или же в тех случаях, когда человек стремится избавиться от наказания, как, например, при принудительных работах.

Таким образом, в основе пассивного внимания лежит какой-либо личный и актуальный интерес, в основе же активного внимания лежит косвенный интерес, окрашенный таким же самым аффектом, как при боязни и надежде. Само собой разумеется, что нашим вниманием могут руководить также и все не перечисленные здесь аффекты; здесь приведены только те аффекты, которые встречаются чаще всего в повседневной жизни. Все то, что возбуждает какой-либо аффект — страх, боязнь, радость, любовь — привлекает к себе также и наше внимание. Поэтому же целые тома педагогической мудрости могут быть сведены к простой формуле: внимание ребенка может быть лишь тогда направлено на какой-либо предмет и этот предмет может быть действительно усвоен лишь тогда, когда учителю удастся привести его в связь с представлениями, имеющими положительную аффективную окраску.

Как бы мы ни наблюдали и ни расчленяли процесс внимания, мы не находим в нем ничего иного, кроме как прокладывания путей для всех ощущений, ассоциаций и движений, соответствующих объекту интереса, и торможения всех других ассоциаций, т. е. мы находим то же самое, что мы издавна считаем действием аффектов. Когда я обращаю свое внимание на проблему внимания, то все ассоциации, относящиеся к этому вопросу, облегчаются; в зависимости от части проблемы, т. е. от частичного интереса, направленного мною на известный отдел всей задачи, в данный определенный момент облегчается лишь вполне определенная часть ассоциаций, соответствующая этому частичному интересу. Прежде мо^ю внимание было направлено на те аффекты, которые возбуждают внимание; теперь оно направлено на ассоциативные изменения, которые обусловлены вниманием. Для всех этих ассоциаций облегчается путь, возникновение же других ассоциаций тормозится. Если бы течение моих ассоциаций не управлялось интересом и не обуславливалось данной целью, я мог бы с таким же успехом

перейти от идеи об ассоциациях к работам Юнга и Риклина, затем к произведениям Ашаффенбурга в Кельне, а от них — к мысли о Кельнском соборе и т. д. Однако, эти ассоциации никогда не появились бы у меня в то время, когда я пишу данную работу, если бы мне не нужен был пример таких ассоциаций, которые в этих условиях обычно тормозятся. Я впервые привел здесь такой ряд ассоциаций, поскольку я был занят проблемой внимания и течения ассоциаций; при свободном ассоциировании такой род ассоциаций мог бы возникнуть очень легко (равно как и при „вихре идей»). Таким образом, мы приближаемся к тому, что Польган много лет тому назад назвал несколько претенциозным термином «loi de la fiahte». Он хотел сказать этим, что обычные законы ассоциаций недостаточны для того, чтобы объяснить мышление, если не принять при этом во внимание цели мышления, как определенного фактора.

Для нас достаточно знать следующее, внимание, как и все наши действия, всегда управляется аффектом или точнее говоря: внимание представляет собой одну из сторон или частный случай аффективности; влияние эффективности сказывается только в том, что нам уже известно: она способствует возникновению одних ассоциаций и тормозит другие ассоциации.

Возникновение ассоциаций облегчается, конечно, не только благодаря интрацентральным и центрипетальным связям, но и благодаря множеству центрифугальных связей. Не следует, разумеется, упускать из внимания готовности органов наших чувств, например, установки глаза, равно как и готовности мышц нашего тела к действию в направлении, соответствующем аффекту. Когда кошка направляет свое внимание на мышь, она всегда готова к тому, чтобы схватить свою жертву, и это выражается в ее позе и в относительном напряжении ее мышц. Если мы говорим, что страх делает нас готовыми к самообороне или к бегству, то мы могли бы выразить это и таким образом, что мы внимательны к объекту нашего страха и к связанной со страхом реакции. Аналогичным же образом теория об образовании меланхолических бредовых идей может быть описана с помощью терминологии аффектов, равно как и в виде явлений, связанных с нашим вниманием. Мы говорим, что при длительном депрессивном аффекте могут ассоциироваться лишь депрессивные идеи и что другие ассоциации тормозятся. С тем же правом это положение вещей может быть выражено иначе, а именно: что внимание направлено только на печальные мысли, так что противоположные мысли не доходят до сознания и не могут оказать своего действия. Это — тот же процесс, какой мы наблюдаем, когда исследователь создал какую-нибудь ошибочную теорию и находит затем в продолжение всей своей жизни одни лишь доказательства этой теории, игнорируя все

противоречащее ей. Его внимание в данном случае направлено лишь на определенные явления или, иначе говоря, он проявляет интерес только к наблюдению данных явлений.

Таким образом, мы видим, что вместе с формой аффективности меняется также и форма внимания. При органических психозах аффекты отличаются крайней неустойчивостью; в таком же смысле видоизменяется и внимание. Маниакальный больной окрашивает все происходящее с ним в эмоциональный тон, имеющий всегда преимущественно положительную окраску. Поэтому он проявляет интерес ко всему как существенному, так и второстепенному. Эта «нивеллировка представлений» неизбежно обуславливает рассеянное, подверженное внешним случайностям внимание. Дальнейшим следствием этого является отвлекаемость внимания и вихрь идей. При раннем слабоумии аффекты подавлены в большей или меньшей степени; интерес часто совершенно отсутствует, и вследствие этого отсутствует также и активное внимание. Ход мыслей лишен всякого направления; мысли присоединяются к какому-нибудь определенному представлению без всякого выбора и в странном сочетании.

Этих беглых указаний будет достаточно, чтобы иллюстрировать значение нашей концепции для психопатологии. То, что мы говорим здесь, известно еще не всем врачам.

В настоящее время более популярной, нежели ассоциативная интерпретация внимания, является динамическая, которая усматривает сущность внимания в концентрации мозговых и духовных сил или же в большем напряжении их. Само собой разумеется, что облегченное воспроизведение материала, соответствующего какому-нибудь аффекту, и торможение несоответствующего ему материала — может быть более или менее интенсивным. Хорошая концентрация внимания включает в себе также и энергичную выключающую силу, а эта последняя идентична с силой аффекта, выявляющегося в виде внимания. Но внимание, как таковое, заключается только в функции выключения, которая может быть сильнее и слабее, и вследствие этого может быть более или менее интенсивной, может касаться большего или меньшего количества ассоциаций. Как на доказательство того, что внимание представляет собой ничто иное как форму психической энергии, указывают иногда на ощущения, сопровождающие напряжение, и на чувства усталости; последние, однако, пока не могут быть использованы для психологического анализа, так как мы не знаем источников их возникновения. Возможно, что даже при чисто умственном напряжении внимания — напряжение отдельных мышечных групп, имеющее место во всех без исключения случаях, играет известную роль (глазные и лобные мышцы). С другой стороны, мы знаем, что физическое чувство усталости легко может быть

выключено с помощью аффектов и других влияний («ivresse motrice» по Фере). Следовательно, мы теоретически не можем в настоящее время трактовать усталость, в остальном же мы должны констатировать, что, несмотря на исследования Фехнера, мы не имеем никаких отправных точек для измерения силы психических процессов. То, что доступно нашему анализу в этих процессах, может быть просто объяснено с точки зрения ассоциаций, т. е. как вовлечение или выключение известных образов воспоминания или идей. Только эффективность и ее проявления кажутся нам интенсивными или количественными величинами. Мы оцениваем их силу, но не можем еще измерить ее и не знаем даже, на чем она основана. Таким образом, мы не имеем еще возможности обосновать динамические теории и имеем столь же мало оснований придерживаться их. Незрелость этой динамической трактовки выступает с очевидностью в теориях, которые пытаются выяснить различие между представлением и ощущением resp. восприятием. Многие молчаливо соглашались или во всеуслышание заявляют о том, что ощущение имеет большую интенсивность, хотя у них нет ни малейшего доказательства этого положения. Если быть последовательным, то следует признать, что и галлюцинации отличаются от представлений своей большей интенсивностью.

Когда мы будем лучше знать физиологическую базу нашей душевной жизни, тогда, конечно, и динамический фактор станет предметом наших дискуссий.

По мнению многих, чувства являются нашим самым первоначальным, самым личным достоянием; они (а не интеллектуальные представления) являются тем именно фактором, который объединяет наше Я. (Разумеется, это нечто совершенно иное, в корне отличное от вышеизложенного нами положения, что наш характер и наше поведение определяются почти исключительно эффективностью). Совершенно верно, что они составляют наше самое первоначальное достояние, что способ реакции каждого индивида включает в себе нечто специфическое, не присущее другим людям и сохраняющееся в принципе в течение всей жизни. Но наше Я, наша субъективно сознательная личность сохраняет свою непрерывность исключительно благодаря мнемическим функциям. Только энграфическое сохранение всего того, что мы переживаем (как интеллектуальных процессов, так и аффективных), говорит нам самим о том, что мы всегда остаемся одними и теми же. Сама по себе непрерывность стремлений была бы совсем незаметна, если бы она мнемически не регистрировалась самой личностью или наблюдателем извне. Основным стержнем нашего Я считали органические ощущения, связанные с жизненными чувствами, а вместе с тем и с нашими настроениями и с аффективностью вообще. Естественно, они должны содержаться где-то в нашем Я, и их непрерывность не может остаться без влияния на

непрерывность нашей психики. Однако, значение их, конечно, переоценивалось многими авторами (в том числе и мною).

Чистый интеллект, т. е. способность комбинировать образы воспоминаний наших переживаний так, чтобы они соответствовали действительным переживаниям, должен быть выражен уже при рождении, так как выработка картины мира основана на тех же ассоциациях по аналогии, что и логика: однако, интеллектуальные функции возможны только тогда, когда в наличности имеются образы воспоминаний о пережитых соотношениях между событиями.

Аффективность не нуждается ни в каком содержании, ни в каком материале извне, опыт дает в переживаниях только повод к продуцированию аффекта. Таким образом, обе функции, взятые абстрактно, развиты в готовом виде при рождении; интеллект же должен накопить для своего проявления опыт, представления, тогда как эффеktivность не нуждается ни в каком материале извне и может проявляться сразу во всей своей сложности и утонченности (исключая, может быть, некоторые стремления, связанные с сексуальностью). То, что мы называем в обыденной жизни рафинированной аффективностью, обусловленной сильным развитием характера, образованием и т. д., представляет собой эмоциональную окраску высоко развитого мира идей.

Так, например, мы видим у детей сложнейшие эмоциональные реакции в то время, когда содержание интеллекта еще до смешного незначительно. Аффективность обуславливает течение ассоциации в определенном направлении, тогда как опыт не может оказать влияния на это направление. Так возникает часто озадачивающее нас инстинктивное понимание сложных ситуаций и еще более поражающая нас правильная реакция на них. Когда мой пятимесячный мальчик стал впервые самостоятельно на ноги, он отчетливо проявил свою гордость этим, глядел вокруг себя, как петушок, так что мы — родители — не могли удержаться от смеха. Однако, нам за это хорошо досталось, когда малютка разразился страшным криком, который носил характер обиды. Он не мог перенести смеха над своим новым искусством. Кто не был при этом и сам не наблюдал характера реакции мальчика до этого и после этого момента, тот будет склонен в начале полагать (как и я сам), что дело заключалось в совершенно ином и что это я приписываю реакции мальчика гордость и обиду за насмешку. Я думаю, однако, что я в этом отношении скептичен, насколько это только возможно. Ежедневные наблюдения мальчика до того времени, когда он сам мог высказаться относительно своих чувств, не могли дать все-таки никакого другого толкования.

Некоторые другие примеры будут еще лучше иллюстрировать

это положение вещей. На одиннадцатом месяце он однажды, сидя на полу, потребовал, чтобы я поставил его на ноги. Я отказал ему в этом, мотивируя тем, что он замочил пол. Тогда он с видом превосходства и решимости медленно поднялся с пола и победоносно посмотрел на меня, как бы говоря: если ты не хочешь мне помочь, то я могу сам себе помочь.

В возрасте немногим больше года он однажды оказался непослушным; тогда я ему сказал: «Теперь ты должен слушать папу, потому что ты еще малыш». Тогда мальчишка, едва умевший сказать полдюжины слов, откинул голову назад и, покачиваясь туловищем спереди назад, как бы аффективно кланяясь мне, повторил несколько раз с презрительно-иронической гримасой: «Папа, папа, папа.» Тон его был при этом настолько почтительно-насмешлив, что вряд ли актер мог бы сделать это лучше, если бы он хотел осмеять меня за хвастовство. Или он скажет какую-нибудь глупость, например, что его мать злая; как только он заметит свою ошибку, он сводит ее сейчас к абсурду, называя злыми всех окружающих, в том числе и себя, самого. В возрасте 31 месяца он однажды в "л себя плохо; я сказал ему, что он должен пойти в предназначенную для таких случаев изолированную комнату, ни минуты не задумываясь, он ответил мне: «Мицци тоже там?» В этом случае кажущаяся дипломатичность, с которой он сумел воспротивиться наказанию, прямо-таки изумительна. Однако, было бы совершенно неправильно искать за этим рассуждение, т. е. интеллектуальный процесс. Ситуация вызвала проявление скрытого упрямства, которое не имело цели обидеть меня. Этот аффект сам по себе вызвал «инстинктивно» соответствующую ему реакцию, т. е. правильные ассоциации.

Еще более сложна реакция в следующем случае, точное наблюдение которого гарантировано отцом. Малышу было приблизительно 2 года, когда у него появилась сестричка. Роженица, приподнявшись во время сильного кашля, сдвинула простыню. Зная наблюдательность малыша, она, не говоря ни слова о случившемся, сделала знак мужу. Пока последний приводил в порядок постель, мальчик отвернулся от кровати и оставался в таком положении, наподобие кельнера, который находится в ресторане среди гостей, не имеет дела, но не может и уйти, ожидая заказов или наблюдая за посетителями. Как только все было приведено в порядок, на лице мальчика исчезли признаки смущения. Он сделал вид, что ничего не заметил. На следующий день мать упрекнула ребенка в том, что он замочил свое платье. «Мама тоже, мама тоже, мама тоже кашляла, мама тоже кашляла» — ответил ребенок. В течение ближайших минут ребенок еще несколько раз повторил последнюю фразу. Ясно, что малыш сразу же понял своим чувством (конечно, не сознательным интеллектом), что в этой ситуации нужно кое-что скрыть, кое-чего не заметить. Соответственно этому ребенок

реагировал так, как это сделал бы интеллигентный, сознательно рассуждающий взрослый человек. Но он понял также, что с матерью произошло нечто аналогичное тому, что происходит и с ним, когда ему перекладывают сухие пеленки. Получив упрек, ребенок не мог удержаться от вульгарного оправдания, что мама тоже сделала нечто подобное. Он не смел, однако, прямо сказать об этой щекотливой вещи и инстинктивно воспользовался передвиганием: вместо извиняющего его события — беспорядка в постели — он назвал причину последнего — кашель. С интеллектуальной точки зрения это было не особенно удачно. Он выдавал свою тайну; а если бы его не поняли, то все его оправдание оказалось бы несостоятельным. Однако, как раз этот пробел доказывает, какую небольшую роль играло здесь то, что мы называем интеллектом.

Этот пример лучше всего показывает, какое основание имеет практика языка, когда мы говорим об «эмоциональном познании», когда мы говорим, что можно что-либо почувствовать, но не понять. В этих случаях эффективность является тем именно фактором, который руководит ассоциациями. В действительности речь здесь идет не о познании, а просто об инстинктивной реакции, находящей правильный путь. Совершенно очевидна отчасти внешняя, а в известной мере и внутренняя аналогия с диагнозами, которые ставятся не на основе знания, а на основе чувства, хотя в последнем случае бессознательное наблюдение и умозаключение составляет сущность этого процесса, в то время как аффективность отступает на задний план. Не следует смешивать интуитивное реагирование с инстинктивным, хотя нередко они находятся в неразрывной связи. Последнему направление дается, как это видно из самого выражения, врожденным инстинктом, интуитивному же реагированию направление дается бессознательным процессом познания.

Как доминирующее положение, занимаемое эффективностью, так и большая ее независимость от интеллектуальных процессов сказывается особенно в патологии. Там она проявляется прямо-таки как элементарное свойство психики, преобладает во всей картине болезни и преобразует интеллект по своему усмотрению.

При таких заболеваниях, как мания и меланхолия, легко найти зависимость существенных расстройств от эффективности. При шизофрении, при которой аффективная жизнь запустевает, отсутствует стремление к преодолению препятствий даже в том случае, когда интеллект мало поражен. Точно также лица с отклонениями от психической нормы, но не душевнобольные (психопаты) представляют собой в огромном большинстве случаев собственно говоря тимопатов.

При самых тяжелых мозговых заболеваниях чувства не исчезают; наоборот, они оказывают еще большее влияние, чем у здоровых, на нарушенные интеллектуальные процессы. В большинстве учебников психиатрии мы находим как раз обратное. По Крепелину, например, при старческом слабоумии запустевает также и эмоциональная жизнь. Больной становится тупым, безучастным... Потеря близких родственников и т. п. удары судьбы проходят без соответствующей значительной реакции. Семья, призвание, любимое занятие становятся безразличными для больного.

Такое понимание неправильно, хотя наблюдения, на которых оно основано, верно. Речь идет в данном случае о вторичном нарушении эффективности. Аффективность, как таковая, сохраняется. Как только больному, страдающему органическим поражением мозга, удастся вернуть достаточно ясные понятия об этих вещах, мы видим также появление эмоциональной окраски, качественно вполне соответствующей нормальной реакции. Как только больному удастся, хотя бы лишь до некоторой степени, представить себе свою профессию или свою семью в их различных соотношениях, мы видим неизменно появляющуюся эмоциональную реакцию, в виде ли печали, сопровождающейся стоном и плачем по поводу ухудшившегося положения семьи, в виде ли выступающих на первый план гордости и довольства по поводу бывших некогда успехов и благосостояния семьи. Так же обстоит дело и с моральной испорченностью у больных, страдающих старческим слабоумием, и у паралитиков. Она коренится не в аномалии чувств. Правда, такие больные совершают различные преступления против нравственности, собственности, но нарушение коренится в интеллектуальной области и поскольку в этом участвуют чувства — следует отметить как раз более сильное влияние их на течение мыслей, а не отсутствие эмоциональной окраски. Перед нами больной, страдающий старческим слабоумием, который растлевал детей. Обычно он говорит о своих преступлениях равнодушно; кажется, будто его «нравственные чувства притупились». Фактически же у него отсутствует представление о преступном, заключающемся в его действиях. Естественно, что представление о половых сношениях с ребенком не так легко выпадет у него, но в самом этом представлении не имеется никакого основания для отрицательной эмоциональной окраски. Когда восточный человек женится на незрелой еще девочке и имеет с ней сношения, то у него нет никаких угрызений совести, и они были бы для него совершенно непонятны. В этих вопросах играет роль соотношение поступка со всеми нашими общественными и сексуальными представлениями и установлениями. Только более или менее сознательное вовлечение этих многочисленных ассоциаций может дать отрицательную эмоциональную окраску, отвращение к проступку, вызвать угрызения совести. При этом

надо иметь в виду, что сексуальные чувства, как таковые, могут быть возбуждены ребенком так же сильно, как и зрелой в половом отношении женщиной. Тот факт, что при органических психозах различие между девочкой и женщиной замечается не всегда, тоже является результатом нарушения ассоциаций — понятий в более широком смысле, — в силу которого больной обращает внимание на одну сторону личности, в данном случае на пол, а не на детский возраст).

Однако, если больному, якобы равнодушному к совершенному преступлению, удастся разъяснить действительный смысл его проступка и его значение для общества или для, пострадавшего ребенка, то у него возникает тотчас же нормальная эмоциональная окраска, отвращение и угрызения совести, какие могли бы появиться у преступника, когда он был здоров. Конечно, такой эксперимент можно проделать не во всех случаях, но в большинстве случаев можно было получить у таких больных реакцию на более простые этические представления. Для этого необходимо только возбудить соответствующие представления с их необходимыми компонентами. Так, например, совершенно якобы отсутствующую любовь к своим родным можно часто с успехом продемонстрировать перед большой аудиторией.

Патологическим является в чувствах скорее то, что при органических психозах они овладевают мышлением у больных гораздо сильнее, чем у здоровых. При недостаточности ассоциативной функции их тормозящее или способствующее влияние сказывается в гораздо большей степени. Другими словами, больной, страдающий старческим слабоумием, или паралитик может думать обыкновенно только о том, что в данный момент соответствует его аффекту или влечению. Когда возбуждена его сексуальность, он видит в маленькой девочке существо женского пола, могущее удовлетворить его похоть. Противоположные ассоциации часто совершенно отсутствуют, или дело ограничивается тем, что больной прибегает к нелепым мерам предосторожности. Когда паралитик, находясь в отделении, в присутствии нескольких десятков зрителей ходит вокруг да около какого-нибудь предмета, кажущегося ему желанным, и прячет его внезапно под свое платье, то он в этот момент думает не о зрителях; еще меньше думает он о нравственной недопустимости кражи. Ему хочется иметь этот предмет, и он берет его. При других обстоятельствах кража может быть ему, однако, противна, а именно тогда, когда он может представить себе преступление, как таковое. Паралитик, описанный Крепелином, выпрыгнувший из окна, чтобы поймать выпавший кусок сигары, думает только о том, чтобы получить обратно драгоценный предмет, а не об опасности падения, о высоте окна и т. д. То же самое наблюдается при простых экспериментальных ассоциациях: у этих больных аффекты

руководят ассоциациями в гораздо большей мере, нежели у здоровых.

Следующим болезненным проявлением аффективности у органиков является ее неустойчивость, лабильность. Обычно говорят о «поверхностности чувств». Они могут меняться от одного момента к другому, если только удастся внушить больному различные представления. Часто удается заставить паралитика в течение одной минуты смеяться, плакать и снова смеяться. Вследствие этого такие больные становятся похожими на детей. У стариков говорят прямо-таки о втором детстве.

Итак, аффективность, как таковая, сохраняется при органических психозах. Эмоциональные реакции адекватны интеллектуальным; в противоположность обычным они легко вызываются и не отличаются устойчивостью, они лабильны. Притупление чувств является вторичным и происходит вследствие того, что понятия не могут быть продуманы полностью, так что им в норме не может соответствовать ни одна реакция. Напротив того, аффективность руководит ассоциациями в гораздо большей мере, чем у здоровых.

О случайных аффективных расстройствах, связанных с опухолями мозга и другими органическими поражениями, мы здесь не будем говорить. Если психические процессы протекают в общем с трудом, то аффекты не составляют исключения, и пациент оказывается торпидным или даже ступорозным. Также мало нас интересует органическая склонность к маниакальным расстройствам настроения.

Аналогично обстоит дело и при алкоголизме, к которому мы теперь переходим. В общем и целом неверно, что у хронического алкоголика «притупляются» чувства. Наоборот, его аффективность одолевает его. Если он плохо обращается со своей семьей и пренебрегает своими делами, то это имеет в первую очередь свою позитивную причину. У него имеются другие интересы, занимающие его; сопутствующие им аффекты настолько овладевают им, что он забывает о своих прежних обязанностях. В моральном „похмелье“, в новом приливе любви каждый простой алкоголик доказывает сотни раз, что он сохранил еще чувства к своей семье. Когда он находится в больнице, он пишет своей жене, которую он прежде истязал, прекрасные письма, исполненные любви; в этом и заключается вся опасность алкогольного характера, подобного сирене, что он с действительной убежденностью и с действительным аффектом может давать наилучшие обещания и проявлять величайшую любовь, так что стократ уже обманутая жена дает обмануть себя в сто первый раз. Алкоголик может *so gam publico* разразиться слезами оттого, что мороз убил урожай у какого-нибудь знакомого; наряду с этим он может пропивать все свои деньги,

истязать жену и ребенка и т. д. Как бы плохо он ни обращался дома со своей семьей, он может с полным основанием казаться в обществе, где от него требуются слова и чувства, а не действия, наилучшим человеком, способным к воодушевлению. Таким образом, у него налицо имеется не притупление чувств, а только слишком быстрое и слишком сильное появление и угасание их. Ему недостает устойчивости и возможности противостоять искушениям, так как соблазн искушения настолько овладевает им, как ни одно другое чувство, возникшее у него за момент до того. Такая эмоциональная неустойчивость никогда не приводит к добру, но может породить бесконечно много зла; это, между прочим, легко объясняется тем, что для хороших поступков, для создания чего-нибудь в этом мире необходимы выдержка и устойчивость, тогда как глупость и подлость совершаются очень быстро. Мы не находим ничего особенно хорошего в том, что алкоголик, возвратясь домой в более или менее хорошем настроении, начинает нежничать со своей женой. Однако, мы имеем основание считать его поведение крайне предосудительным, если он, минуто спустя, раздраженный ее недостаточной предупредительностью или каким-либо не особенно восторженным замечанием, становится груб с нею. К сожалению, чужие люди вменяют ему, конечно, в добродетель, когда он во время патриотического торжества произносит глубоко прочувствованную речь, программу которой он совершенно неспособен осуществить. Аффективность алкоголика не понижена, а, наоборот, повышена. Все чувства могут у него возникать, и при том легче, нежели у здорового человека, но они лишены длительности. Алкоголик страдает, как и органик, «недержанием эмоций».

Кроме того, хроническое состояние эйфории способствует тому, что алкоголик становится легкомысленным. Эйфория тормозит возникновение ассоциаций, связанных с неприятными переживаниями; и когда люди обращают внимание алкоголика на горе, которое он причинил себе и своей семье, он отклоняет от себя это указание, как неприятное бремя, с оскорбленным чувством человека, находящегося в состоянии болезненной эйфории, без всякой логической переработки. Только при похмелье или при каких-нибудь особых внешних обстоятельствах эйфория переходит в депрессию, которая может доходить до стремления покончить с собой, но которая длится недолго.

Аффективности алкоголика до некоторой степени противоположна аффективность эпилептика. Несмотря на общеизвестный эгоизм этих больных — у них также имеются все без исключения аффекты, присущие здоровому человеку, хотя их интересы и ассоциации суживаются определенным эгоцентрическим образом. Аффекты эпилептика легко возбуждаются, но они отличаются болезненной устойчивостью, не той, которая необходима для плодотворной

профессиональной работы, а другого рода устойчивостью, не позволяющей аффекту угаснуть после определенного полезного срока, если речь идет, например, о вспышке гнева или ярости. Аффекты эпилептика не лабильны — в том смысле, что они не могут быть заменены другими аффектами, как это имеет место при органических заболеваниях и при алкоголизме. Персеверация проявляется как в течении мыслей, так и в аффектах.

У олигофренов аффективная жизнь тоже не обнаруживает собственно дефектов; конечно, границы нормальной эффективности раздвинуты здесь очень широко вверх и вниз. Гиперэмотивные и апатичные типы встречаются среди олигофренов чаще и выражены они более сильно, нежели среди здоровых, но не более резко, чем у психопатов с высокоразвитым интеллектом. У меня нет также доказательств того, что отсутствие отдельных аффектов, как, например, моральной эмоциональной окраски, встречается чаще у идиотов и имбецилов, чем у разумных людей; но, конечно, идиоты не могут создавать чувств в отношении к тем представлениям, которых у них нет; таким образом это — не дефект чувства, а интеллектуальный дефект, влияние которого на чувства вполне нормально.

Определенные группы олигофренов характеризуются присущими им аффективными отклонениями. Кретины в общем представляют собой добродушных детей Микроцефалы отличаются эйфоричностью и лживым нравом, аналогично маниакальным больным. Большая часть олигофрении, возникших вследствие очаговых мозговых процессов или менингитов, отличается легкой возбудимостью и дает спонтанные расстройства настроения в смысле возбуждения, реже в смысле депрессии, реже всего они дают или совсем не дают эйфории.

У олигофренов особенно часто и отчетливо появляются такие реакции, которые основаны на непонимании ситуации, например, ярость или ступор, реже боязливое бегство без позитивной цели. Припадки ярости могут оказывать такое сильное влияние на течение ассоциаций, что они оставляют после себя полное отсутствие воспоминаний о периоде возбуждения.

Таким образом, мы видим, что эффективность может быть развита и существовать даже там, где интеллект остался недоразвитым (в более узком смысле слова) или был разрушен. Она продолжает существовать до тех пор, покуда существуют самые простые «объективные» процессы, ощущения и простые восприятия; в отдельных случаях она существует еще дольше. Больные, страдающие старческим слабоумием, и паралитики

обнаруживают эмоциональные реакции еще и тогда, когда ощущение и восприятие в значительной мере нарушены.

И все же есть такие заболевания, при которых с известным правом на первый план можно поставить подавление чувств, а именно раннее слабоумие (шизофрения). При этом заболевании анатомические изменения мозга настолько незначительны, что их раньше иногда оспаривали. При шизофрении интеллект не разрушается, а только подавляется, доказательством чему может служить сохранность некоторых функций, а затем ремиссии и «позднее выздоровление» таких больных. Но в тяжелых случаях аффективность безнадежно разрушается; нельзя представить себе, чтобы такая элементарная функция была просто вытравлена малозаметным болезненным процессом из головного мозга. Оказывается также, что с помощью психоанализа можно вызвать проявления аффективности на некоторое время в совершенно нормальном виде, и что приводящие органические психозы также могут сделать ее актуальной. При шизофрении аффекты были только «выключены» (abgesperrt). (Само собой разумеется, что при шизофренических аффективных нарушениях оказывают влияние также и другие механизмы, например, диссоциация логических функций и недостаточная интеграция личности. Вероятно, какое-то участие в этом принимают также токсические или анатомические нарушения ствола мозга).

О других шизофренических расстройствах мы упомянем лишь вкратце. Часто даже при наличии аффектов они бывают «неподвижны» («stei»), то есть они вовсе не следуют за изменением темы или же следуют недостаточно или же с запозданием. Или же они «паратимны», совершенно не соответствуют представлениям, которые их вызвали. В действительности же в этих случаях можно доказать, что данное переживание является только мнимым поводом к проявлению аффекта, тогда как сознательно или бессознательно оно ассоциируется с противоположно окрашенным представлением, которое представляет собой собственно исходный пункт аффекта, так что сама реакция не может быть названа аномальной. Ни при какой другой болезни амбивалентность аффектов не проявляется так часто и так резко, как при шизофрении.

Мы не можем касаться здесь широких областей психопатий и неврозов. Психопатии разыгрываются в подавляющем большинстве случаев в аффективной области, в то время как неврозы возникают исключительно на почве аффективности. Мы хотим только напомнить здесь, что тенденция к выявлению аффективного комплекса, даже если он неприятен, не так уж редко превалирует над тенденцией к вытеснению. Подобно тому, как у психопата неприятная идея может постоянно

навязываться вплоть до патологической дисамнезии, так и комплекс представлений может стать вследствие приписываемой ему переоценки сверхценной идеей (Вернике) и привести к неправильной трактовке фактов.

В то время как аффективные реакции на определенные трудности, связанные с сексуальностью (а также и на другие трудности), создают неврозы, внешняя форма этих заболеваний обуславливается главным образом аффективной конституцией индивидуума.

Настоящее изложение, содержащееся в существенных своих частях в первом издании, может быть дополнено и приведено к (объективным) понятным связям с помощью биологического изложения аффективности. Охватить всю тему в целом, как в ее биологических, так и феноменологических связях («феноменологически» в старом объективном, а вместе с тем и в новом субъективном смысле), мы еще не можем; с одной стороны, потому что для всей психопатологии непосредственную важность имеет все-таки одна лишь психологическая сторона; с другой стороны, потому что нам в настоящее время слишком трудно — как я мог убедиться — последовательно рассматривать психическое с точки зрения биологии; кроме того, при этой трактовке возникают некоторые недоразумения.

Биологические соотношения психики выявляются проще и яснее всего в том случае, если предположить идентичность психических процессов с известным функциональным комплексом в мозгу («гипотеза идентичности»). Можно было бы исходить также из других представлений, например, из психофизического параллелизма; последующее не потеряло бы от этого своего значения; нужно было бы только трансформировать наше изложение согласно терминологии (понятиям) этого воззрения. Однако, вследствие этого вся трактовка потеряла бы во многом свою связь с биологией и, таким образом, лишилась бы своего общего значения. Я пользуюсь представлением об идентичности также и потому, что одно это представление без других вспомогательных гипотез делает понятными как биологические, так и психические связи сами по себе, а равно и отношения первой группы ко второй, и потому, что одна лишь эта гипотеза может быть проведена без всяких противоречий.

Церебральный функциональный комплекс мы можем изучить в его проявлениях в физиологии мозга. Психический процесс мы узнаем при самонаблюдении, а также инстинктивно с помощью наблюдения других людей. При этом мы за проявлениями других людей, а также животных — по крайней мере высших — прямо-таки навязчиво представляем себе, как собственно субъект действия, психику подобную нашей, с теми же самыми

восприятиями, мотивами и хотением, что и в нас самих.

Эти функциональные комплексы, рассматриваемые прежде всего как два комплекса, соответствуют друг другу, поскольку мы их знаем, подобно контурам одного и того же сложного предмета, который мы рассматриваем сначала с внешней, а потом с внутренней стороны. Это и представляет собой одно из самых важных оснований для воззрения, выраженного уже в вышеприведенном беглом положении, что сознательное является комплексом мозговых функций (а не /'мозга», как думают некоторые) в нашем «внутреннем» представлении. Вывод этот имеет такое же логическое основание, как и тот, согласно которому свет является производным электрических колебаний, но этот вывод базируется на несравненно большем количестве отдельных данных, и все они без исключения могут быть истолкованы в одном и том же направлении.

Объективно мы видим в психике у людей и у животных определенные направления деятельности, которые мы называем инстинктами, влечениями, рефлексам, подобно тому как мы изучаем причину притяжения одного куска железа другим, называя это явление «магнетизмом». С другой стороны, мы наблюдаем — у одноклеточных еще в очень простой форме, но все более усложняющееся по мере того, как мы переходим из царства животных к человеку — изменение деятельности, соответствующее размеру опыта или памяти; мы не можем останавливаться здесь на том, как эта функция приспособляемости, находящаяся в зависимости от памяти, усложняясь все больше и больше, принимает форму мышления или рассуждения. (См. Bleuler, *Naturgeschichte der Seele und ihres Bewusstwerdens*, Jul. Springer, Berlin, 1921). Однако, как бы то ни было, психизм распадается (не только согласно этому представлению и не только на мой взгляд) аналогично совокупности биологических функций на какое-то целеустремленное движущее начало, количественно динамическое (влечения, инстинкты, воля; тимопсихика Странского) и на какое-то приспособляющееся начало, рассуждающее, указывающее пути к общей цели, определяемой тимопсихикой (ноопсихика Странского). Первую функциональную группу я назвал эргией; вторая включает в себе интеллектуальные функции в самом широком смысле этого слова, обнимающем не только разум, но и тот материал, с которым последний имеет дело, т. е. восприятие и память. (Собственно говоря, самым существенным элементом является память, так как благодаря ей осуществляется возможность накопления опыта, а тем самым и приспособляемости.) Тот факт, что каждый организм должен обладать тенденцией действовать и реагировать в смысле сохранения жизни, является результатом нашего наблюдения, а вместе с тем и постулатом, потому что без этого качества не могла бы существовать жизнь.

Уже одноклеточное животное пользуется для достижения этой цели эргии, для сохранения жизни, множеством химических и физических функций; но лишь у высшего многоклеточного животного мы можем разложить действия на рефлексы, влечения и инстинкты; и только там, где мы можем приписать организму сознание, мы говорим также и о воле. Можно создать себе определенное представление о том, каким образом сознание вытекает из функции памяти, но это не имеет отношения к нашей теме (см. *Naturgeschichte der Seele*).

Следует лишь мельком обратить внимание на то, что совокупность черт, которую мы называем характером, составляет также одну сторону эргии и может быть понята и описана с точки зрения эффективности или предрасположения к определенным аффективным проявлениям. Некоторые термины могут быть использованы как для определения характера, так и для определения аффективности, например: живой — торпидный, устойчивый — лабильный, имеющий эйфорическую или депрессивную установку, раздражительный, стремительный, сенситивный, откровенный, замкнутый, мстительный, справедливый, незлобивый, доброжелательный, альтруистичный, эгоистичный, безнравственный. При различных склонностях и талантах аффективное предрасположение связано с развитием интеллектуальных способностей: склонность к умственному или физическому труду, к практической или теоретической работе, к языкам, к музыке, к поэзии и т. д.

Сохранение жизни основано прежде всего на двух группах функций: принятие и поиск всего того, что способствует этой цели, и избегание или борьба со всем тем, что разрушает жизнь.

Если изучать аффективность с психической стороны, то можно сразу прийти к следующей формулировке: удовольствие доставляют те переживания, которые полезны индивиду и его роду; все противоположные переживания доставляют неудовольствие. («Полезный» и «вредный» употреблены здесь в биологическом смысле, так что исключения оказываются при более тщательном рассмотрении лишь кажущимися, в то время как необходимое основное стремление в отдельном случае при исключительных соотношениях, к которым род или индивид не имеют времени приспособиться, может привести к обратному результату).

Таким образом, то, что является опытом, соответствующим цели сохранения жизни в общем и влечениям или инстинктам в частности, то «рассматривается изнутри» как удовольствие; все противоположное — как неудовольствие. Тот, кому это с самого начала кажется неправдоподобным, пусть представит себе обратное. Тогда объективное и субъективное не будет казаться

ему несоизмеримым или не имеющим отношения друг к другу; наоборот, он будет иметь основание с уверенностью отбросить представление, что то, к чему мы инстинктивно стремимся, вызывает у нас неудовольствие, а то, чего мы избегаем, возбуждает у нас удовольствие. Это означает, что и первое представление заключает в себе нечто логическое и понятное для нас.

Это — единственный случай, в котором мы до некоторой степени знаем различие физических процессов, которым соответствуют психические отличия. (Какова разница между мозговыми процессами, получающимися при раздражении сетчатки голубым светом, в противоположность раздражению красным светом, мы не знаем, и поэтому мы в настоящее время не имеем надежды понять, почему мы ощущаем в одном случае голубой свет, а в другом случае — красный).

Таким образом, есть полная идентичность в том, что мы говорим: «мы делаем то, к чему мы имеем охоту» и «мы делаем то, что заложено в наших влечениях». Для того, чтобы получить удовольствие, чтобы действовать согласно жизненным влечениям, мы пользуемся опытом и основанным на нем рассуждением. Так как пути, ведущие к получению удовольствия и избеганию неудовольствия, становятся более разнообразными по мере более высокого развития организма, то различные влечения часто соперничают друг с другом. Влечение, более важное в силу биологической необходимости и вследствие специальных обстоятельств и соотношений, в конце концов найдет себе активное выявление; оно — «более сильное». Поскольку мы сознаем это активное выявление влечения (и именно в том случае, когда ведущая к цели игра различных стремлений и соответствующих им представлений выражается в рассуждении), мы называем его волевым решением, а общее направление решений — волей. Субъект воли, личность или наше Я представляет собой актуальный комплекс психических процессов, существующих в данный момент представлений и стремлений (подробнее см. в *Naturgeschichte der Seele*). Если противоположные стремления достигают приблизительно такой же силы, то действие становится невозможным или дело доходит до колебаний то в одну, то в другую сторону. Если сила обоих стремлений неодинакова, но оба они очень интенсивны, то более слабое стремление может быть не подавлено, а только ограничено в своем проявлении.

Если мы говорим, что при данных условиях более сильное влечение прокладывает себе путь, то это вовсе не тавтология (в чем мне был брошен упрек некоторыми авторами), потому что мы оцениваем силу влечения не только по силе его проявления, но также и по его биологической важности, по силе вызывающих его раздражений и воздействий, по реакциям, а

отчасти также и по тому, что мы субъективно ощущаем как «силу» влечения.

В понятии об эрги, а вместе с тем и в понятии об эффективности есть нечто динамическое, что оценивается нами также до некоторой степени и количественно при преодолении одного влечения другим или при вытеснении одного представления другим представлением. Когда стремления, а вместе с тем и аффекты подавляются, то предполагается, что происходит накопление энергии, как при напряжении пружины или аналогично накоплению электрической энергии в электрической машине, и это приводит в конце концов к реакциям, которые становятся патологическими вследствие своей эксплозивности или вследствие того, что энергия, которой преграждены нормальные пути оттока, ищет для себя аномальных путей. В последнем случае «отреагирование» могло бы устранить катастрофу. Хотя факты, лежащие в основе этого представления, могут быть повседневно наблюдаемы и не вызывают никакого сомнения, однако, такое объяснение безусловно неверно. С принципиальной точки зрения организм обладает достаточными возможностями для обезвреживания нормальным путем освобождающихся в нем количеств энергии; в противном случае мы не могли бы прожить ни одного дня. Но для всех новых и эфемерных стремлений, равно как и для филогенетически древних и прочных стремлений создаются определенные аппараты в рефlekсах и инстинктах, которые стремятся к действию в известном направлении до тех пор, пока они не упраздняются. В подобных случаях лечение обязано своим успехом не столько отреагированию в смысле разряда, сколько упразднению аппарата.

Удовольствие и неудовольствие представляют собой аффективную окраску не только внешних переживаний, но и внутренних физических процессов, всех наших жизненных процессов. Мы чувствуем себя «хорошо» или «плохо», мы находимся в хорошем или в плохом настроении в зависимости от жизненных процессов. Это общее чувство удовольствия или неудовольствия оказывает такое же влияние на ассоциации и на физиологию, как и внешние переживания или представления. Так как жизненные процессы менее изменчивы, нежели все другие переживания, то они обуславливают длительность наших настроений. Определенное настроение может, принципиально говоря, сохраняться в течение всей жизни как нечто характерное для индивида. Конечно, с настроением обычно связан определенный характер реакции также и в другом отношении; веселый человек реагирует быстрее чем мрачный, но для нас более важен тот факт, что аффективные колебания, вызванные этими переживаниями, наслаиваются на это более или менее длительное жизненное настроение в виде вторичных

волн.

На настроение можно оказывать влияние также и с помощью химических веществ, действующих на головной мозг, как, например, алкоголь, морфий, туберкулин. При болезненных состояниях важную роль играют расстройства настроения в виде маниакальных и меланхолических синдромов, связанные, очевидно, с гормонами и внутренними химизмами вообще.

Из нашего понимания аффективности вытекает, как нечто само собой разумеющееся, «действие аффектов». Мы знаем о психике, равно как и о функциях более глубоко заложенных нервных центров (а именно о рефлексах), что все функции имеют тенденцию способствовать проявлению рефлексов, стремящихся к одной и той же цели, и преграждать путь противоположным. Можно было бы а priori (даже помимо наблюдения) сделать вывод, что при эргии это стремление становится наиболее очевидным; ведь мы знаем, что эргия определяет главную цель и силу всех центральных нервных (включая и психические) функций, тогда как ноопсихика должна только выбрать из различных — часто более или менее равноценных путей — один путь для достижения ранее намеченной цели, и, кроме того, она получает всю свою силу лишь от эргии.

Таким образом, как биологически, так и психически все аффективные элементарные механизмы Фрейда, как-то: вытеснение, передвижение, перенесение — со всеми их последствиями, представляют собой нечто само собой разумеющееся, хотя по этому поводу очень много спорили без всякой пользы. Но только мы должны рассматривать их с несколько иной точки зрения, нежели Фрейд. Для нас не существует «принципа удовольствия» в Фрейдовском смысле, принципа, который можно было бы противопоставить другим стремлениям и который мог бы вступить с ними в конфликт. Цель, к которой мы стремимся, и само стремление всегда связаны с удовольствием, но только это удовольствие может быть заглушено каким-либо неудовольствием, которое вызывается косвенным образом вследствие осуществления этих стремлений или которое возникает благодаря ассоциациям представлений об их осуществлении.

Нравственность и сексуальность не окрашены (как можно было бы предположить из чтения произведений Нейтра) первая — неудовольствием, а последняя — удовольствием; у того, кому вообще присущи нравственные чувства и кто может прийти к нравственному конфликту, у того оба эти переживания окрашены удовольствием. Иначе, каким образом у него мог бы возникнуть конфликт? «Исполнение своего долга», «сексуальная чистота», сопереживание чужой радости и горя — все это понятия, окрашенные положительными аффектами. Болезненно

переживается конфликт между обеими целями и необходимость отказаться от одной из них. Таким образом, я не могу также противопоставить друг другу «влечения Я» и «сексуальные влечения». Все влечения имеют отношение к Я. В крайнем случае можно различать влечения, которые служат индивиду, и влечения, которые служат сохранению рода в будущем и настоящем или, по крайней мере, полезны для него (т. е. косвенно способствуют его сохранению). Это подразделение на влечения, способствующие индивиду, и влечения, способствующие роду, не покрывается обычным подразделением на эгоистические и альтруистические стремления; сексуальность служит сохранению рода, однако, как моралисты, так и Фрейд противопоставляют ей, из различных соображений, нравственности. Но ведь действия, приносящие вред как здоровью, так и жизни действующего лица, являются одновременно и безнравственными и в известном смысле неэгоистическими. Я не могу также согласиться с подразделением на «Я» и на «Оно». Все стремления относятся в одинаковой мере к нашему Я, хотя и можно отличать филогенетически более древние и более недавние, более сознательные и менее сознательные, преимущественно врожденные и преимущественно приобретенные. Сексуальное влечение является, конечно, более древним, нежели моральные влечения; но последние никогда не могут отсутствовать там, где необходимо было какое-то попечение о потомстве, или там, где род жил в условиях сообщества. Когда насекомое старается класть яйца так, чтобы вылупливающиеся детеныши могли находить себе пищу, оно поступает столь же нравственно, как и мать, которая тратит деньги для того, чтобы купить пищу своему ребенку. А когда насекомое окрашивает свои яйца так, чтобы их трудно было обнаружить, оно поступает нравственнее, чем та мать, которая окрашивает пасхальные яйца, чтобы доставить удовольствие своему ребенку.

Мы не можем также противопоставить в такой мере, в какой это делает Фрейд, принцип реальности принципу удовольствия, когда он усматривает, например, противоречие между желанием и невозможностью его осуществления. Возлюбленный покинул истеричку. Это представление невыносимо для возлюбленной. Она вытесняет его и представляет себе в сумеречном состоянии (галлюцинаторно) присутствие своего возлюбленного, а иногда и свадьбу и беременность. Мы имеем здесь конфликт между желанием и реальностью, причем желание и влияние, оказываемое им на течение ассоциаций, оказывается на короткое время более могущественным. Но в общем влечения обслуживают в первую очередь именно реальность, и лишь у человека представления играют столь большую роль, что они становятся значительными носителями удовольствия и неудовольствия, так что в отношении к ним проявляется та же

самая избирательная тенденция, что и в отношении к актуальным («действительным») переживаниям. Естественно поэтому в сфере одних только представлений дело может доходить до таких же конфликтов, как и по отношению к реальности. Когда Брун описывает губительное действие принципа удовольствия у муравьев, пьющих сок жуков и погибающих вследствие этого, то речь идет не о победе принципа удовольствия, который не считается с реальностью, над инстинктом реальности, сохраняющим жизнь, — здесь речь идет о недостаточном приспособлении к новым соотношениям. Мы можем сравнить это положение вещей с введением индустриального изготовления алкоголя в человеческом обществе: организм ищет удовольствия, потому что носителями его являются в общем полезные переживания, аналогично тому, как желудок выделяет пищеварительные соки на целый ряд экстрактивных веществ (которые бесполезны сами по себе), потому что они обычно бывают связаны с питательными веществами. Благодаря абстракции или неточному пониманию удовольствие становится самоцелью и может сбить человека с истинного пути. Случайно алкоголь обуславливает появление у человека эйфории без всякого труда, и потому он является столь же желанным, как и вредным. Но все положительные стремления, в том числе и те, которые соответствуют реальности, связаны с удовольствием, поскольку они являются стремлениями; с другой стороны, отрицательные аффекты с их опасениями оказывают точно такое же действие, как и так называемый принцип удовольствия.

Для нас излишне понятие о цензуре в Фрейдовском смысле, как об особой функции, расположенной между сознанием (или предсознательным) и бессознательным и стремящейся к тому, чтобы представления, доставляющие неудовольствие, не проникли в сознание. Стремление избегать всего, что доставляет неудовольствие, является общей функцией (или биологически говоря: все то, что инстинктивно избегается, доставляет неудовольствие). Там, где жизнь представлений играет такую большую роль, как у человека, избегаться должны не только реальные вредные переживания, но и связанные с ними, окрашенные неудовольствием представления.

Это происходит благодаря тому, что неприятное тормозится в его ассоциативной связи с сознательным комплексом Я. Это можно себе представить лучше всего в виде электрического соединения; это сравнение применимо вообще вплоть до большинства деталей ко всем психическим и центральным нервным процессам. То, что происходит без связи с комплексом нашего Я, не может быть воспринято им, не может стать «сознательным». Но все же оно иногда приходит в действие и дает знать о себе косвенными путями, например, в мимике или каком-нибудь влиянии на ассоциации, как это прекрасно

показал Фрейд в своей „Психопатологии обыденной жизни». Таким образом, вытеснение со всеми его последствиями не заключает в себе ничего мистического или особенного. Оно является само собой разумеющимся процессом в психическом механизме. Предпосылкой этого изложения является, конечно, наше представление о «бессознательном», состоящем из процессов, не связанных с нашим Я, но в остальном совершенно одинаковых с сознательными функциями. Если это понятие не было создано уже раньше из других отправных пунктов, то именно факт вытеснения заставляет с логической необходимостью конструировать такое бессознательное.

В виду того, что отрицательные аффекты могут оказывать такое же сильное влияние на течение ассоциаций, как и положительные, мы не можем удовлетвориться тем, что будем видеть вместе с Фрейдом одни только желания за аффективными механизмами, определяющими, например, содержание сновидений и порождающими бредовые идеи; они могут быть вызваны также и опасениями, как это показывает, между прочим, психопатология бредовых идей с депрессивной окраской.

2. ВНУШЕНИЕ

Аффективность, внушение, паранойя

Э Блейлер

Процессы внушения в некоторых отношениях приближаются, по видимому, к интеллектуальным чувствам Наловского. Верить, сомневаться, предполагать, считать истинным — с одной стороны, поддаваться внушению — с другой стороны, все это обозначает в равной мере интеллектуальную реакцию нашего Я на какое-либо представление. И все же есть очень важное отличие между внушением и другими названными процессами: внушение идет гораздо дальше. Вера, убежденность и все эти реакции не могут еще сами по себе оказать влияния на физические функции, вызвать галлюцинации и овладеть логикой настолько, что бессмыслица воспринимается, как нечто разумное, вопреки всякой очевидности. Конечно, предвидение какой-либо опасности может вызвать физические явления, но только окольным путем: через чувство страха. Вера также обуславливает в повседневной жизни принятие нелогичных мыслей, а иногда даже и появление галлюцинаций; но в таких случаях всегда принимает участие аффект или внушение (как и вообще вера не свободна от влияния внушения, стоит хотя бы вспомнить о религии и политике). Следовательно, в подобных случаях влияние, выходящее за пределы интеллектуального, не является непосредственным следствием интеллектуальных чувств.

Внушение же вызывает все это непосредственно. Оно оказывает влияние на деятельность желез, сердца, вазомоторов, кишечника, оно отщепляет определенные комплексы идей от

других противоположных им комплексов; оно исключает всякую критику и настолько овладевает чувствами, что легко создает иллюзии и даже положительные и отрицательные галлюцинации.

Как мы уже видели, эти же явления могут быть обусловлены также и аффектами. Таким образом, объективное влияние внушения совершенно тождественно с влиянием эффективности, но оно отнюдь не соответствует влиянию, оказываемому интеллектуальными процессами.

Точно также и характер влияния внушения, поскольку мы о нем кое-что знаем, таков же, как и характер влияния аффектов. Мы знаем, что аффективная окраска какой-нибудь мысли благоприятствует возникновению ассоциаций, соответствующих этому аффекту, и затрудняет и даже препятствует возникновению других ассоциаций. Вследствие этого создаются благоприятные условия для восприятия мысли, критика же ее становится невозможной; тот же самый процесс обуславливает и внушительная идея.

Если мы заглянем в корень суггестии, то мы найдем там аналогичные соотношения: невозможность объяснения с помощью интеллектуальных процессов, зато тесное родство с эмоциональными побуждениями.

Правда, Бернгейм считает суггестию производным от «способности уверования» («Glaubigkeit» — нем., «creditive» — франц.), присущей всем людям. Последняя играет определенную немаловажную роль уже при интеллектуальной суггестии, передаваемой с помощью речи и встречающейся у людей чаще всего. Но сила внушения не может быть объяснена этим моментом.

Возьмем обыкновенный случай. Мать говорит ребенку: «Каша горяча». У ребенка существует уже понятие «горячий», но, несмотря на это предостережение, он пробует есть кашу и обжигает себе рот. В миллионах случаев он может подобным же образом проверять на опыте то, что ему было сказано. Следовательно, он должен просто *per analogiam* прийти к тому, чтобы считать в общем правильным все сказанное родителями или учителем, даже в том случае, если у него нет собственного опыта. Эта способность уверования свойственна всем людям и является *conditio sine qua non* для всякой возможности получения образования.

Если принять во внимание одни только интеллектуальные процессы, то можно истолковать это влияние способности к уверованию как суггестию; мы считаем многие вещи истинными без всякой проверки и без всякого доказательства — на

основании одного лишь уверения других людей.

Но я не хотел бы так сильно расширять понятие о внушении.

Если родители говорят, не меняя тона, ребенку нечто такое, что противоречит восприятиям его органов чувств или (впоследствии) его логическому пониманию, то он не будет им больше верить; восприятие и логика сохраняют свою силу по отношению к этим высказываниям родителей. Точно также простая способность к уверованию не может оказать влияния на деятельность сердца, кишечника, на секрецию желез; она не может даже в психической области отщепить одни части личности от других и сделать их *quasi* самостоятельными. Таким образом, влияние способности к уверованию оказывается гораздо меньшим по сравнению с влиянием внушения.

Особенность этого последнего мы можем рассмотреть легче всего при простых соотношениях. Когда животное, живущее в сообществе, подвергается нападению, то и другим животным в большинстве случаев тоже грозит опасность; во всяком случае будет хорошо, если все примут участие в защите или бегстве. Если где-нибудь можно найти пищу, то полезно, чтобы она досталась всему сообществу; таким образом, отдельные животные выражают свой аффект, как только они чувствуют опасность или добычу; всему стаду сейчас же сообщается тот же самый аффект, с теми же самыми проявлениями, с теми же самыми движениями защиты, бегства или одобрения, поскольку все стадо может воспринять с помощью своих чувств аффект отдельных его участников.

При этом вовсе нет надобности в наличии какого-либо интеллектуального содержания. Внушается просто аффект, страх, воинственное настроение, желание охотиться etc. Мы должны предположить, что среди высших животных имеет место сообщение местонахождения и характера опасности или добычи. Однако, самым существенным моментом является лишь перенесение аффектов; сообщение содержания, интеллектуальный компонент играет второстепенную роль. Это мы видим, например, у собак, у которых стадный инстинкт сохранился лишь в небольшой мере, но которые полностью поддаются еще внушению со стороны себе подобных. Лай одной собаки вызывает такой же, т. е. аффективно тождественный лай во всей округе; и все же мы достаточно близки к этим высокоразвитым симбионтам человека для того, чтобы сделать из наших наблюдений вывод, что они не делают при этом друг другу никаких более или менее точных сообщений. Вообще мы констатируем внушение у животных только при аффектах или аффективно окрашенных переживаниях, и мы имеем полное основание предположить, что животные (исключение составляют может быть лишь высшие роды отдельных классов)

сообщают друг другу только об аффективно окрашенных переживаниях или — я мог бы даже сказать — об одних только аффектах; описание причины аффекта, интеллектуального процесса обычно становится излишним и во всяком случае отступает на задний план (иногда оно содержится уже *implicite* в первоначальном выявлении аффекта — в направлении движения бегства или нападения).

После вышесказанного нам не нужно особенно останавливаться на цели внушаемости. Она заботится о том, чтобы весь род был одновременно охвачен одинаковым аффектом; она создает благодаря этому необходимое единство действия; она подавляет все другие стремления отдельного индивида, благодаря чему повышается, между прочим, сила действия. Она придает аффектам, а вместе с тем и стремлениям большую устойчивость, так как индивид, стремления которого находятся под угрозой ослабления, вновь побуждается другими индивидами к действию в однажды данном направлении и усиливает затем, с своей стороны, общий аффект других индивидов.

Исходя из этого, мы можем понять, что выражение чувств далеко выходит за пределы того, что заложено в самом аффективном комплексе. В ярости человек не только принимает положение, соответствующее целям нападения, он не только издает крик, могущий испугать врага, и т. п., — он иногда поет, танцует, смеется, т. е. совершает, казалось бы, совершенно ненужные действия, пока индивид рассматривается изолированно. В игре лицевой мимики, в модуляции голоса, во взгляде — человек обладает бесконечно тонкими средствами для того, чтобы в более или менее символической форме выявить для других людей свои чувства в тысячах нюансов, Самые важные элементы нашего общения с людьми осуществляются с помощью выражения чувств, с помощью мимики в широком смысле этого слова; благодаря этому среди отдельных индивидов создается единство, значение которого вряд ли можно переоценить. Связь эта выходит за пределы вида, и Нейтра с полным правом называет мимику «интербестиальным» языком, которым пользуются все живые существа и который в большей мере может быть понят инстинктивно. Этот мимический разговор и внушение в значительной степени идентичны у животных. Внушение обеспечивает коллективный аффект, а вместе с тем, и единое коллективное стремление и действие. Оно оказывает влияние на стремления сообщества многих индивидов — аналогичное тому влиянию, которое доминирующий аффект оказывает на различные стремления отдельного индивида; у человека внушение обеспечивает еще и тот факт, что отношение одного человека к другому определяется в первую очередь эффе́ктивностью, совершенно независимо от собственно симпатии или антипатии. Однажды целый класс гимназистов

решил разговаривать как между собой, так и с преподавателями не больше, чем это будет строго необходимо. Это условие было очень легко провести. Однако, от попытки не смеяться пришлось скоро отказаться вследствие ее неосуществимости. В психиатрических больницах можно наблюдать то же самое, хотя и в преувеличенном и карикатурном виде, но зато с большей отчетливостью. С идиотами мы обращаемся как отец с сыном; мы находимся в постоянном сердечном контакте с ними. Алкоголики, паралитики, маниакальные больные вызывают у нас своими аффективными проявлениями отклик, хотя и не всегда положительный, и мы оказываем на них воздействие. С гебефренами, которые в интеллектуальном отношении стоят к нам часто гораздо ближе, нежели другие слабоумные больные, мы не находим душевного раппорта; они чужды нам, и мы относимся к ним сравнительно холодно, как к птице, за которой мы ухаживаем и которая позволяет за собой ухаживать, но никогда не допускает той интимности, которой мы скоро достигаем в общении, например, с собакой. Заторможенные и искаженные аффективные проявления у гебефренов воздвигают непреодолимую преграду между нами и этими больными, в то время как все интеллектуальные расстройства у других групп больных не отчуждают нас от них. Из этих замечаний вытекает следующее:

1. При простых соотношениях внушаются только аффекты (направленность влечений).
2. Внушение имеет такое же значение для массы, какое имеет аффект для отдельной личности.
3. Животным могут быть внушены почти исключительно аффекты. Внушение, в котором существенную роль играет интеллектуальное содержание, имеет место только у человека, да и то случаи подобного внушения малочисленны.

Кроме того, мы в начале установили:

4. Влияние внушения проявляется тем же образом и в тех же пунктах, что и аффекты, независимо от того, идет ли речь об интеллектуальном или аффективном внушении.

Уже из этих фактов можно вывести следующее заключение: внушение представляет собой аффективный процесс; внушаемость является частичным проявлением эффе́ктивности.

Итак, мы видим, что внушаемость в ее первоначальной аффективной форме, равно как и эффе́ктивность в более тесном смысле существует задолго до интеллекта. Грудной ребенок понимает уже очень рано аффективные проявления матери; не только аффект младенца оказывает влияние на мать, но

совершенно ясно, что внушение идет и в противоположном направлении. Когда мать улыбается ребенку, он тоже склонен улыбаться; все ласкательные слова не только производят на него приятное впечатление, но влияют и на его настроение в том же направлении. Бранные слова, даже когда они произносятся не громче ласкательных (так что исключается возможность испуга) производят неприятное впечатление на ребенка. Это кажется чем-то само собой разумеющимся, но дело могло бы обстоять и иначе.

Таким образом, уже у грудного младенца восприятие аффективных проявлений вызывает тот же самый или аналогичный аффект. Ребенок обладает не только прирожденным разумом, но и прирожденным умением откликаться на аффективные проявления. Аффект передается сразу ребенку и в тех случаях, когда нельзя даже представить себе никакого интеллектуального содержания.

У детей старшего возраста представляется само собой понятным, что они «заражаются» как веселостью, так и страхом или плачем других людей и т. п. Мы можем вполне ясно заметить то же самое и у взрослых людей при всей сложности культурной жизни. Таким образом, суггестивное перенесение эмоций представляет собой обычное явление.

Если, вообще говоря, внушаемость представляет собой одну сторону аффективности, то можно в частности заметить, что по своему направлению и силе она вполне параллельна характеру и живости аффективности вообще.

Вигуру и Жюкелье выражают это положение следующим образом: «Чем больше эмоциональная ценность какой-либо идеи, тем она заразительнее».

Большая значимость и лабильность аффектов *ceteris paribus*, естественно, связаны с сильной внушаемостью: большая значимость — потому что она обуславливает более сильное влияние на ассоциативные соединения, а лабильность — по той причине, что она ослабляет или исключает последствие уже существующих других стремлений и соединений. Поэтому дети, душевнобольные, страдающие органическим поражением, и алкоголики отличаются большой внушаемостью как положительной, так и отрицательной, не только вследствие их еще недоразвитой или нарушенной способности к критике, но и вследствие их эффективности. Тот, кто умеет с ними обходиться, получает над ними огромную власть; тот же, кто им не понравится, легко наталкивается на непреодолимое упрямство или негативизм. И при сохранении критической способности маниакальные или даже только сангвинические темпераменты отличаются легкой внушаемостью, а затем также и алкоголики,

если только их нечистая совесть или самомнение не оказывают сопротивления известным влияниям. Депрессивные темпераменты поддаются обычно воздействию только в направлении, соответствующему их настроению. В тех случаях, где существуют не общие, а кататимические аффективные валентности, внушаемость направляется в каждом отдельном случае в сторону этих аффективных валентностей. Если человек кого-то любит, он легко поддается внушению в соответствующем направлении. Иной энергичный, имеющий самостоятельный образ мыслей офицер или купец может в известных отношениях всецело находиться под башмаком (вернее: под влиянием внушения) своей жены, любовницы или даже прислуги. Параноики легко поддаются влиянию во всех тех направлениях, которые соответствуют их бреду, но в остальном они, как известно, крайне недоверчивы. Можно заметить, что все, что описывается здесь как действие внушения, может быть совершенно одинаково учтено и как простое влияние аффектов на ассоциации.

При шизофрении внушаемость проявляется в таких же причудливых формах, как и аффективность. Поскольку во внимание могут быть приняты бредовые идеи (а именно: при параноидных формах) — шизофрения может быть приравнена в смысле внушаемости к паранойе, хотя она и не подходит строго под вышеприведенное правило. Тяжелые шизофреники, составляющие большую часть населения психиатрических учреждений, по большей части совершенно недоступны незамаскированному внушению. Но тот факт, что внушение (совершенно аналогично аффективности) действует в скрытом виде, усматривается из того, что никто из больных не реагирует так тонко на *Spiritus loci*, как шизофреники. Бессознательное внушение, которое исходит от врачей, санитаров и всей живой и мертвой окружающей обстановки, определяет в такой значительной мере внешнее поведение шизофреников, что в зависимости от этого бывают, например, часты или редки кататонические симптомы, отказ от пищи и т. п.

Хотя может быть принято за общее правило, что аффект и внушаемость соответствуют друг другу, тем не менее это не всегда может быть отмечено с первого взгляда. Аффект может, конечно, в зависимости от своего направления, как затруднить, так и облегчить осуществление данного внушения. Вполне понятно, что в этом случае затруднение внушения тоже является суггестивным воздействием. Механизм совершенно одинаков, действует ли он в положительном или отрицательном направлении. Несимпатичному человеку труднее будет оказать на нас определенное суггестивное влияние, в то время как общеизвестно, что мы слишком легко доступны суггестивным воздействиям со стороны любимых нами людей. Равным образом мы легко позволим внушить себе нечто дурное относительно

людей, которых мы недолюбливаем, в то время как мы сразу без всяких разговоров отвергаем клевету на любимых людей. Насколько само собой понятно, что человек, для которого гипноз и гипнотизер совершенно безразличны, не позволит загипнотизировать себя, настолько сложны могут быть соотношения при страхе перед гипнозом; в большинстве этих случаев гипноз оказывается тоже невозможным. Правда, налицо здесь имеется аффект: страх; но последний действует в направлении противоположном тому, которого добивается гипнотизер. Однако, при некоторых обстоятельствах страх может окольным путем даже благоприятствовать гипнозу: вещи, которых человек боится, остаются на первом плане внимания и тормозят все другие мысли, особенно если к этому присоединяется чувство бессилия; таким образом, идея о том, что устрашает, может всецело завладеть лицом, подвергающимся внушению, и бросить его навстречу тому, что возбуждает у него боязнь; за это говорит повседневный опыт, не требующий больше никаких доказательств (белка и гремучая змея). Далее, с боязнью очень часто бывает связана идея о нахождении в зависимости, сопровождающаяся сильными эмоциями. Такие аффекты, которые, к сожалению, не имеют еще названия, играют большую роль при многих внушениях.

Если в таких случаях противовнушение затрудняет влияние внушения, то, следовательно, существует и собственно «отрицательное внушение», которое прежде всего образует необходимый противовес силе положительного внушения. Если бы единственной и неизбежной реакцией на аффекты других существ был отклик в виде того же самого аффекта, то каждое живое существо было бы беспомощно против всякого внушения, поскольку разум не оказывал бы сопротивления действию внушения, да и один только разум явился бы даже у человека недостаточным защитным сопротивлением против внушения — чем-то вроде ружья без заряда, — если бы только какой-либо аффект не придавал ему энергии.

К тому же он в большинстве случаев запаздывал бы со своими возражениями, так как разум требует гораздо большего времени, нежели аффективное воздействие и реакция. При внушении в нормальных условиях, как и при многих других биологических и в частности психических механизмах, мы видим двойное действие: с одной стороны, имеется тенденция поддаться внушению, с другой же стороны, обратная тенденция — противостоять ему или даже сделать противоположное. Вот это и есть тот момент, который заставляет человека при обыкновенных условиях обдумать, прежде чем он поддается какому-либо побуждению, и результат внушения всегда является, точно говоря, следствием борьбы между стремлением принять его и отвергнуть его. Отрицательное внушение мы можем легче всего наблюдать у детей, у которых направление

реакции зависит часто от невидимых и мельчайших причин; при не совсем обычных условиях, а именно при общении с чужими людьми, они могут отвернуться от самого искреннего расположения и отказаться от самого желанного подарка, если к ним не будет найден правильный подход. Общеизвестен факт, что внушаемые люди, дети и старики вместе с тем весьма упрямы и не поддаются постороннему влиянию; относительно же истериков существовал даже спор о том, являются ли они сильно внушаемыми или же они вовсе не поддаются внушению. Это указывает на то, что отрицательная внушаемость по своей силе почти параллельна положительной, как это явствует само собой из нашей трактовки.

Это свидетельствует еще и о том, что индивиды, нуждающиеся в наиболее сильных защитных приспособлениях против силы внушения, обладают и то же время и сильнейшими негативистическими тенденциями. Тот факт, что эти тенденции в патологических случаях не всегда служат индивиду на пользу, не может явиться возражением против биологической целесообразности этого механизма. (Bleuler. Ein psycholog. Prototyp des Negativismus. Psychiatr. Wochenschrift 1904, 05).

Отрицательное внушение составляет в патологии важнейший источник шизофренического негативизма.

В инстинктивной неподатливости внушению заключается всегда известное недоверие или враждебная установка к внушающему (даже самые близкие всегда являются, по крайней мере в некотором отношении, конкурентами). Если враждебное отношение выступает на первый план, то мы имеем не негативную, а прямо противоположную реакцию на какой-либо аффект. Страх перед противником придает мужество нападающему — и наоборот. При наличии этих противоположных внушений становится особенно ясным, что понимание живым существом аффективных проявлений выходит далеко за пределы его филогенетического родства.

Никакой реакции мы не получаем в том случае, когда у внушаемого лица отсутствует лежащее в основе внушения влечение с соответствующим ему аффектом. Нравственному идиоту нельзя сделать никакого внушения морального характера. Там, где речь идет не о наличии или отсутствии влечения, а лишь о той или иной степени его, там внушаемость точно также параллельна аффекту; чем более религиозным или корыстолюбивым является индивид, тем легче поддается он внушению в соответствующем направлении.

Когда мы *experienti causa* подвергаем любого человека гипнозу и успешно внушаем ему, что он увидит цветок или мышь или же что после пробуждения он наденет на голову стул вместо шапки,

то не так легко распознать лежащий в основе этого аффект. В таких случаях отдельное внушение не соответствует, конечно, действительному аффекту; последний делает лишь вообще возможным принятие внушения при данных условиях. Но какой же это аффект? К сожалению, у нас нет еще для него названия, но никто не будет сомневаться в том, что зависимости и интеллектуальному чувству подчиненности чужой воле соответствует сильный аффект. С одной стороны, этот аффект может быть прослежен непрерывно вплоть до обусловленного ужасом паралича (у большинства мужчин в противоположность меньшинству); с другой же стороны (а именно: у женщин в противоположность мужчинам) этот аффект переходит в пограничных случаях в любовь, так как чувство подчиненности чужой воле заключает в себе некоторую сладость, которая не так легко понятна мужчине. Оба эти вида душевного состояния объединяются одним общим названием фасцинации, аффективное значение которой во всяком случае еще не выяснено. (Этот аффект игнорируется Фогтом, когда он утверждает, что гипнотическое внушение должно быть лишено всякого аффекта). Психоаналитики утверждают, что в гипнозе действенным является тот аффект, который лежит в основе отношения ребенка к отцу. Это весьма возможно, но я не думаю, что этот механизм является особенно важным.

Как интеллектуальное, так и аффективное чувство подчинения также играет, конечно, важную роль в общеизвестной чрезмерной внушаемости солдат (Бернгейм и др.). Здесь должно быть принято во внимание влияние привычки, упражнения в качестве нового, далеко не безразличного фактора. Мы знаем, что внушаемость может быть до некоторой степени повышена с помощью упражнения; то же самое мы видим при аффектах, которые точно также при повторении вызываются все легче и легче. С помощью упражнения мы становимся более восприимчивы к наслаждению (например, в отношении произведений искусства, красот природы) даже в тех случаях, когда интеллектуальное понимание не делает существенных успехов. Впоследствии начинают оказывать разрушающее и тормозящее действие различные процессы, совокупность которых мы называем притуплением. Вполне аналогично этому мы видим, что внушаемость понижается спустя некоторое время, если внушающий обладает небогатой фантазией или же если (как это имеет место при медицинских внушениях) он касается постоянно одной и той же узкой темы, коротко говоря, если внушающий за отсутствием собственной заинтересованности не в состоянии больше держать эффективность внушаемого в постоянном напряжении.

При повышении внушаемости с помощью привычки не следует, однако, забывать еще и о другом факторе: простая ассоциация приобретает благодаря упражнению скорее характер

интеллектуального процесса. Возьмем следующий пример: лошадь заставляют несколько раз подряд идти рысью на определенном месте дороги. После этого не требуется больше никакого понуждения: как только лошадь приближается к указанному месту, она каждый раз сама начинает бежать рысью. Каждый более или менее образованный человек, услышав слова: «Птичка божья не знает», продолжит по ассоциации: «ни заботы, ни труда». Все это — чисто интеллектуальные процессы, которые приводят в конце концов к автоматизмам. Таким же образом повторение внушений должно приводить к облегчению этого процесса и, в конце концов, к автоматизмам. Конечно, это несколько не противоречит нашему взгляду на аффективные источники внушения, но мы считаем, что это — отличный пример для иллюстрации того, насколько сложны наши психические процессы.

Хотя само собой разумеется, что в обширной области религиозных и политических убеждений аффекты играют большую роль, но они часто действуют настолько косвенными путями, что здесь будет уместно посвятить этому вопросу несколько слов.

Прежде всего идет ли здесь речь о внушениях? Конечно. Из числа многих оснований приведем лишь следующее: ни одно из подобных убеждений не исповедуется большинством людей. Следовательно, в лучшем случае право только меньшинство. (Если взять за масштаб интеллектуальную ценность истины в смысле современной жизни; конечно, все правы, поскольку речь идет об аффективной ценности религиозных потребностей). Уже одно это свидетельствует о том, что с логической ценностью религиозных вопросов дело обстоит не совсем благополучно. Таким образом, политические и религиозные убеждения управляются силой логики только в исключительных случаях, вообще же они зависят от влияния верований окружающих лиц. В то время, как в области политики (по крайней мере, у образованного человека) имеется достаточно предпосылок для того, чтобы прийти к приблизительно объективному решению, религиозные догмы и представления часто в достаточной мере противоречат простой логике для того, чтобы подвергнуться критике.

Таких совместно действующих аффективных моментов, которые придают религиозным влияниям непреодолимую силу внушения, очень много. Я хотел бы только напомнить об их связи с любовью к родителям, со всеми эмоционально окрашенными воспоминаниями юности, со всеми важнейшими событиями в жизни и с играющей немаловажную роль заботой об устройстве своего существования в этом мире и о блаженстве в загробной жизни. Какие мощные аффекты проявляются в месте благодати, где происходят чудеса — может себе

представить каждый, кто делал когда-либо попытку уяснить себе эти соотношения.

Таким образом, дело доходит до того, что именно из-за этих вещей, весьма сомнительных с точки зрения логики, но имеющих интенсивную эмоциональную окраску, люди разбивают друг другу головы и что даже весьма почтенные люди легко прибегают во время борьбы с враждебными партиями к сомнительным средствам. В этих случаях, как и вообще в жизни, аффект и внушение тормозят возникновение противоположных ассоциаций, затрудняют понимание правильности других взглядов и притупляют сознание нечестности избранных способов борьбы.

Совершенно ясной представляется роль аффективности при «самовнушении». Оно возникает только под влиянием сильных аффектов. К сожалению, у здоровых на него обращали еще слишком мало внимания, но тем важнее его значение в области патологии, где оно часто выступает в картине болезни на первый план или является причиной болезни. Все травматические неврозы сведены теперь к самовнушению, вызванному аффективно окрашенными представлениями; точно также и прочие неврозы являются следствием какого-либо бессознательного или сознательного представления о непосредственной или косвенной выгоде болезни. Вышеприведенный пример с отцом семейства, пережившим железнодорожную катастрофу, я мог бы с одинаковым успехом привести в тех же выражениях в качестве доказательства как силы внушения, так и аффективности. Самовнушение, подобно внушению вообще, представляет собой ничто иное, как одно из проявлений известного нам аффективного механизма.

Далее общеизвестно, что вне патологических состояний (при аффекте страха, но вместе с тем и при аффектах удовольствия) идеи, соответствующие чувству, легко могут быть восприняты без всякой критики, что во время усталости на пустынной дороге мы легко принимаем каждый шум за грохот телеги, которая могла бы нас подвезти, и что человек, изнывающий от жажды в пустыне, видит в каждом неясном очертании почвы воду.

Куэ непозволительно расширил понятие о самовнушении. Само собой разумеется, что действие внушения зависит непосредственно не от воли или какого-либо другого качества внушающего лица, а от аффективной установки внушаемого по отношению к данной идее; если кто-либо может произвольно придать определенной идее силу внушения по отношению к самому себе, то это очень хорошо; но это возможно лишь для весьма немногих, и Куэ забывает, что именно внушающее влияние его личности делает возможным возникновение так

называемого им самовнушения.

В качестве аналогии между внушаемостью и аффективностью следует упомянуть еще о следующем: если человек обращает внимание на механизм какого-либо внушения, то осуществление последнего становится более трудным. Общеизвестно, что внимание оказывает такое же действие и на чувства, в то время как интеллектуальные процессы в противоположность аффективным протекают более успешно при напряжении внимания.

Каждому исследователю бросалось в глаза, что болевые ощущения в гораздо большей мере доступны внушению, чем другие ощущения. Гораздо легче внушить анальгезию, чем анестезию какого-либо другого чувства. И при истерии анальгезия встречается чаще и в более выраженной форме, чем анестезия. В данном случае это отличие касается также и рефлексов; все рефлексы, которые вызываются болью и неприятными ощущениями, часто отсутствуют при этой болезни, другие же рефлексы почти никогда не отсутствуют. К первым относятся мышечные сокращения, изменения дыхания при болезненных раздражениях, конъюнктивальный и глоточный рефлексы и т. д. Мы видим часто такую же дифференциацию и при кататонии, которая пользуется теми же механизмами, что и истерия.

Объяснение этого феномена с точки зрения нашей трактовки представляется само собой понятным. Обычные ощущения органов чувств знакомят нас с определенными соотношениями, существующими во внешнем мире, безотносительно к значению последних для нашего Я. Однако, из всего этого бесконечного количества раздражений, воздействующих на наши органы чувств, мы замечаем сознательно только небольшое число их, а именно те, которые стоят в связи с существующей у нас в данный момент целью. Ту же самую музыку, которая приковывает мое внимание во время концерта, я совершенно не замечаю, когда я занят письменной работой. Выбор впечатлений, передаваемых органами чувств, происходит в зависимости от интереса и определяется тем процессом, который мы называем вниманием.

Совершенно иначе обстоит дело с болью. Она возникает для того, чтобы направить внимание на другие пути, чтобы заставить индивида изменить направление внимания. Она свидетельствует о происшедшем нарушении целостности нашего тела и указывает, таким образом, на событие, которое является одним из важнейших для высших позвоночных животных. Обычно внимание не может устоять против отвлекающей силы боли: „самая лучшая философия не помогает при зубной боли». В противоположность этому существуют другие важные для

организма интересы, которые при известных обстоятельствах требуют подавления боли. Во время боя все внимание направлено на то, чтобы не оказаться побежденным, и лишь очень мало внимания уделяется полученным ранениям. Голодное животное должно без рассуждений рискнуть возможностью причинения ему некоторой боли для того, чтобы схватить добычу; продолжение рода важнее, чем сохранение индивида; пес терпит в течение многих дней голод и всевозможные злоключения для того, чтобы сблизиться с самкой. Все эти жизненно важные процессы сопровождаются сильными аффектами; наиболее важной цели соответствует наиболее сильный аффект. Таким образом, боль может быть выключена лишь с помощью эмоционально окрашенных представлений или же — если мы примем во внимание только сущность последних — с помощью чувств и аффектов, но тогда это достигается уже сравнительно легко. Солдат не замечает иногда в пылу сражения, что у него прострелена рука; в состоянии страха мы приносим в жертву целостность нашего тела; тщеславие делает более или менее безболезненной операцию, направленную к устранению дефектов внешности.

Конечно, в каждом данном случае нельзя просто сказать: восприятие органов чувств направляется с помощью внимания на какой-либо другой объект, болевое же ощущение выключается с помощью другого аффекта. Все психическое слишком сложно для того, чтобы его можно было втиснуть в такие простые формулировки. Ведь внимание само определяется чувствами, последние могут быть в свою очередь подавлены с помощью какого-либо важного восприятия и т. д. Коротко говоря, оба эти вида воздействия на психику никогда не проявляются в чистом виде и изолированно друг от друга.

Тем не менее мы можем вывести следующее заключение: если чувства могут непосредственно воспрепятствовать возникновению болевого ощущения, то оно должно непосредственно поддаваться также и влиянию внушения, между тем как ощущения органов чувств могут быть выключены с помощью внушения лишь окольным путем, и потому это может быть достигнуто лишь с большими трудностями.

Таким образом, легкая возможность воздействия на боль с помощью внушения отлично иллюстрирует наличность близкого сродства между внушением и эффективностью.

Бывают обстоятельства, когда, несмотря на наличие эффективности, внушаемость может быть подавлена другими факторами. Существенным моментом, противодействующим внушаемости, является критика; хотя влияние ее может быть выключено даже у интеллигентных людей с сильным характером, тем не менее в этих случаях приходится реже

встречаться с отсутствием критики. Если критика неосуществима вследствие недостаточности ассоциаций (независимо от того, является ли эта недостаточность следствием слишком небольшого опыта или слишком большой глупости), то внушаемость усиливается. Таким образом, степень внушаемости является, между прочим, также и (отрицательной) функцией способности к критике, что, разумеется, не противоречит представлению об аффективном происхождении внушаемости.

Равным образом и существующее в данный момент предрасположение играет важную роль при внушаемости. Хотя тормозящие и способствующие ей моменты могут быть интеллектуального порядка, но в большинстве случаев они имеют аффективное обоснование. Даже физические болезни с их влиянием на аффективность оказывают, естественно, воздействие на внушаемость (люди, добивающиеся хитростью наследства!). Такое же воздействие оказывает, как известно, и утомление. Для иллюстрации этого я привожу следующий пример. Одна весьма интеллигентная и в высшей степени беспристрастная сестра милосердия возвратилась утомленной из путешествия; одна из сиделок вышла ей навстречу и сообщила ей возбужденным и неодобрительным тоном, что X назначена уже второй сестрой милосердия. Согласно с мнением этой сиделки возвратившаяся признала такое назначение несчастьем для учреждения и несправедливостью по отношению к другой кандидатке на ту же должность. Она совсем забыла о том, что перед этим она сама была согласна с сделанным выбором, и никак не могла осмыслить, что первая кандидатка действительно заняла это место, но затем вопреки моим ожиданиям категорически заявила, что она не останется в этой должности. В течение многих лет эта сестра милосердия не могла найти объективного отношения к своей новой сослуживице, и хотя много времени спустя она иногда и признавала, что я был не так виноват в этой истории, тем не менее она никогда не могла простить мне этого окончательно. При этом не было никаких оснований для ревности, даже с ее точки зрения. (В данном случае в отличие от паранойи дело не дошло до развития бредовой идеи).

Дело становится еще более интересным, когда мы переходим от внушаемости отдельного индивида к массовому внушению, хотя и в этом отношении мы опять-таки не можем представить окончательных выводов, так как — несмотря на некоторые попытки — психология массового внушения еще не разработана.

Единичное внушение, поскольку оно имеет интеллектуальное содержание, представляет собой хилое, искусственное растение, которое имеет мало значения вне человеческих отношений.

Совершенно иным является внушение у комплекса, состоящего из большого числа отдельных индивидов. Здесь оно соответствует своей первоначальной цели, созданию мощного коллективного аффекта, и здесь же оно развивает свою элементарную силу, которая может послужить как на пользу, так и во вред обществу.

Большая масса, даже неодушевленная, имеет сама по себе большую эмоциональную ценность (пирамиды, Монблан, море); в гораздо большей мере этой ценностью обладает одушевленная масса. Почти никто не может противостоять импозантному впечатлению, производимому большой единодушной человеческой массой. Воодушевление армии несомненно было бы значительно меньшим, если бы нам приходилось видеть лишь отдельных солдат, а присяга одного человека может лишь в крайнем случае, при наличии особых сопровождающих ее обстоятельств, заключать в себе нечто торжественное, между тем как присяга многих тысяч граждан представляет собой одно из самых потрясающих зрелищ, воздействующих на человека.

При массовом воздействии, особенно если внушаемый индивид является участником массы, внушение усиливается уже вследствие одной только численности внушающих, которая должна действовать аналогично многократному повторению одного и того же приказа. Одновременно с этим мнению, разделяемому многими, инстинктивно придается (с известной долей основательности) большая вероятность истинности.

Кроме того, к индивиду, находящемуся внутри человеческой массы, притекает со всех сторон большое количество восприятий, которые подкрепляют внушение, в то время как лица, вызывающие о критике, либо вовсе отсутствуют, либо же крайне малочисленны.

Равным образом массовому внушению должны способствовать идея и чувство силы, а также непреодолимости массы; большое значение имеет и то обстоятельство, что при массовом внушении отпадают все задержки и то чувство стесненности, которое в значительной мере ослабляет силу внушения у отдельного индивида, редко позволяющего себе действовать вразрез с окружающими. Если человек, резко выделяясь из окружающей обстановки, испытывает при этом неприятное чувство, то оно тормозит внушаемость у отдельного индивида. Если же масса становится центром внимания, то это чувство побуждает ее к принятию внушения. Ослабление и даже полное исчезновение чувства ответственности за свои поступки и идеи еще больше ослабляет задержки этического и интеллектуального характера, необходимость считаться с чужим мнением и понижает также и критическую способность.

Само собой разумеется, что в массе могут возникать лишь такие аффекты, которые общи всем ее участникам. Вследствие этого в массе (по аналогии с типовой фотографией) вытравляются не только индивидуальные, но и все более тонкие черты, присущие лишь более высоко стоящим ее участникам. Масса может быть увлечена только элементарными стремлениями.

Благодаря этому масса обладает совершенно иной, во многих отношениях значительно ниже стоящей моралью, чем отдельный индивид. Это можно заметить уже в более мелких массах, для более же многочисленных до сих пор остается до некоторой степени в силе старая поговорка: «*Senatores boni viri, senatus autem mala bestia*»; общеизвестно, что мораль более крупных союзов, партий и государств не соответствует самым скромным требованиям, предъявляемым к отдельным индивидам. Впрочем, последнее имеет еще и другое основание: мораль регулирует отношения индивида к тому объединению, участником которого он является и которое ограждает его права. Отношения отдельных государств ко всей совокупности их еще более предосудительны; непосредственным следствием истребления или подчинения какого-либо народа является устранение конкурента, а иногда и овладение всеми его средствами к существованию, включая и его рабочую силу. Уже одно то соображение, что из взаимного стремления к уничтожению возникают войны всех против всех, неблагоприятные при современных условиях для каждой из участвующих сторон, уже одно это соображение указывает, что такая тенденция вредна также и для более могущественного государства.

С утилитарной точки зрения, которая представляет собой вместе с тем и образ филогенетического мышления, уже для толпы мораль не так необходима, как для индивида. Скверные последствия противозаконного поступка (наказание!) в большинстве случаев не столь значительны, как при индивидуальном преступлении, и не могут коснуться всех участников массы.

Число таких моментов, которым должно быть приписано усиливающее влияние массы на внушение, конечно, может быть еще увеличено. Однако, существенный момент заключается и развитии внушения из соотношений, существующих в большом объединении индивидов, т. е. в филогенетическом приспособлении функции к массе. Таким образом, становится само собой понятным, что объединение людей по большей части не только единодушно в мыслях и чувствах, но что оно может также гораздо легче управляться одним лицом, чем отдельный индивид, если только это лицо нашло себе аффективный отклик у большинства индивидов.

Благодаря этому наполовину подготовленный преподаватель или даже неопытная воспитательница детского сада держат сравнительно легко в повиновении 50 детей, в то время как родители, даже если они достаточно толковы, прилагают усилия, чтобы справиться с одним ребенком.

Если мы перейдем к рассмотрению тех описаний действия внушения, которые приведены в работах о гипнотизме, то мы сможем шаг за шагом провести сравнение его с эффективностью.

В сенсорной области мы замечаем повседневно, что аффекты уничтожают ощущения. В состоянии аффекта мы не замечаем самых разнообразных событий и даже тяжких ранений нашего собственного тела; но в обоих случаях анестезия носит систематизированный характер, она ограничивается определенным объектом, а не определенным органом чувств. Мы внушаем анестезию всех чувств. Аффекты дают нам иногда, наоборот, возможность пользоваться ощущениями, которых мы вообще не воспринимаем вследствие того, что они слишком слабы. Внушение вызывает гиперестезию. Аффекты, подобно внушению, вызывают иллюзии и галлюцинации.

На моторную сферу аффект и внушаемость оказывают одинаковое воздействие: с одной стороны, параличи и каталептоидные состояния, а с другой стороны — необычные мышечные проявления порождаются страхом, равно как и гипнотическим экспериментом. Обе функции оказывают в большой мере влияние также и на гладкую мускулатуру (кроме сосудов, также на кишечник, пузырь и т. д.), которая весьма мало доступна непосредственному волевому воздействию.

Аффекты и внушение управляют деятельностью всех наших вегетативных органов: сердца, легких, сосудов, желез; они оказывают влияние на менструацию и многие другие функции. Они влияют на весь наш обмен веществ. Здесь не следует забывать и о сне.

Обе функции руководят нашими воспоминаниями; мы забываем или преобразуем все, что нам неприятно; приятное же мы вспоминаем гораздо более живо. Мы встречаем обманы памяти у здоровых людей, как только выступает действие аффектов; еще чаще встречаются они у тех душевнобольных, в психике которых на первый план выступает какой-нибудь сильный аффект; мы очень легко продуцируем экспериментальный обман памяти с помощью внушения.

Вся наша логика управляется аффектами точно так же, как и внушением: и то, и другое затрудняет критику и даже полностью

тормозит ее функцию.

Смена аффектов делает нас совершенно другими людьми. Мы поступаем во многих отношениях в состоянии печали иначе, чем в состоянии необузданной радости; аналогично этому мы можем изменять характер человека с помощью внушения.

В области патологии мы не можем отграничить действия аффектов от того процесса, который с полным правом назван самовнушением. Вопрос о том, впадает ли истеричка в бред потому, что она аффективно отщепляет от своей личности страдание по поводу утраты своего мужа вместе со всем, находящимся в связи с этой утратой, или же потому, что она внушает себе, что ее муж не умер — вопрос этот представляет собой отличие лишь в описании одного и того же процесса. Уже согласно обычной трактовке речь здесь идет лишь о различном обозначении одного и того же процесса. Точно также сновидения здоровых людей, содержащие в себе осуществление желания, и аналогичный бред у больных представляют собой ничто иное, как действие самовнушения, но так же правильно было бы обозначить их и как действие аффектов, которые руководят в первую очередь ассоциациями — как в бредовом состоянии, так и во сне.

Установка внимания, будь то сознательная или бессознательная, обуславливается «интересом» и другими аффектами. Но с таким же успехом мы управляем вниманием и с помощью внушения; мы делаем гипнотизируемого, который находится в раппорте со своим гипнотизером, столь же рассеянным, каким бывает ученый, занятый своей проблемой и не замечающий налета на свою квартиру.

Обычные установки внимания тоже являются внушениями а есчансе. Когда мы решаем сделать что-либо в определенное время или с наступлением определенного события, то установка внимания направляется сознательно или бессознательно на это событие или на этот час, так что человек имеет их в виду; одновременно с этим событие, к которому приурочено наше решение, ассоциативно связано, с подлежащим совершению действием.

Таким образом, в этих случаях устанавливаются связи и задержки по отношению к ожидаемым впечатлениям точно так же, как это делает внимание по отношению к уже существующим и будущим психическим переживаниям. Выше было уже упомянуто — и это само собой понятно — что внимание является аффективной функцией. Таким образом, внушения а есчансе не нуждаются в особом объяснении.

Однако, может быть нелишне обратить еще внимание на тот

факт, что (как и во всех психологических процессах) разные пути ведут к одной и той же цели и что на практике результат никогда не бывает обусловлен действием одного только механизма. Наряду с внушением и вместе с ним сказываются еще и некоторые другие влияния.

Последнее может быть пояснено анализом внимания, оказываемого суггестивными вопросами.

Штерн поставил себе в «Психологии свидетельских показаний» вопрос о том, каким образом оказывают свое влияние суггестивные вопросы: он «объясняет» их действие подражанием той установке, которую заняло вопрошающее лицо. Однако, почему в одном случае подражание имеет место, а в другом нет? т. е. почему не каждый суггестивный вопрос оказывает суггестивное влияние? В одном случае получается аффективный отзвук, а в другом — нет. Вообще нельзя сказать, какие именно аффекты принимают в этом участие. Это — те разнообразные аффекты, которые испытывает ребенок по отношению к учителю, свидетель по отношению к судье и ко всей обстановке следствия.

Но ко всему вышесказанному присоединяется еще и нечто другое.

Уже в тоне и форме вопроса легко может заключаться ответ. Человек испытывает неприятное чувство, когда его мнение расходится не только с мнением какого-либо авторитетного лица, но и с мнением всякого человека. Мы инстинктивно избегаем всего неприятного. Уже по одному этому ассоциации идут в направлении, указанном вопрошающим лицом. Простая способность к уверованию (Glaubigkeit), которую мы отличаем от внушения, тоже играет важную роль. — Затем противодействие лежащему в вопросе предубеждению требует от индивида известной самостоятельности (как в смысле характера, так и умственной деятельности), которой обладает не каждый. Чтобы на вопрос: «Какое было платье: синее или желтое?» ответить: «Ни синее, ни желтое, а красное» — требуется уже известная независимость духа, на которую неспособны многие люди, между тем как на безразличный вопрос: «Какого цвета было платье?» — те же люди, вероятно, ответили бы совершенно правильно: «Красного» (Штерн). С помощью суггестивного вопроса предлагается материал, содержащий в себе известные мысли и представления. И это обстоятельство действует прежде всего непосредственно, так как лицо, к которому обращен вопрос, более или менее вынуждено оперировать с этим материалом, а затем и окольным путем, так как «естественный закон лености противится добровольному расширению процедуры вопроса-ответа». Так обстоит дело при вопросе: «Какого было цвета платье на женщине?» в тех случаях, когда

вовсе не установлено, что там вообще была женщина.

Конечно, приведенными указаниями не исчерпывается число участвующих мотивов. Штерн указывает еще на значение тона, которым задается вопрос: „Наиболее суггестивный вопрос, поставленный робким, неуверенным голосом, утрачивает всякое суггестивное значение; самый безобидный вопрос, заданный настойчивым тоном, сопровождаемый строгим взглядом и повторяемый с постепенным повышением голоса, может обратиться в нравственную пытку, которая вынудит к любому желанному ответу». Кроме того, важную роль играет прирожденная каждому человеку инстинктивная потребность реагировать на все вопросы и обращения вообще. Корень этой потребности можно признать аналогичным или тождественным с корнем внушения: в обоих случаях речь идет об эмоциональном и интеллектуальном раппорте между двумя индивидами, но вызывает ли один, первоначально действующий индивид в другом только его собственные убеждения и чувства или же дополнение к своим чувствам и мыслям — это отнюдь не одно и то же.

При желании объяснить себе феномены внушения не следует вовсе упускать из виду гипноз, хотя последний охватывает лишь незначительную часть того, что мы называем внушением.

При этом необходимо прежде всего установить, что существует не один только вид гипноза, а целое множество состояний, которые мы окрестили таким названием. Общей для них чертой является лишь одностороннее направление всех представлений (мышления) к назначенной внушающим цели при выключении (под чем подразумевается приведение в неактивное состояние, а не подавление) всех остальных психических функций; этот процесс может быть осуществлен лишь при крайне глубокой концентрации внимания; этим путем исключается, конечно, также и возможность критики. В остальном гипноз по Льебо представляет собой нечто совсем иное, чем по Шарко; состояния, которые описаны Бредом и Месмером, отличаются от современного гипноза. „Гипнотизеры», сделавшие из своей техники зрелище для публики, вызывают опять-таки иное состояние; тот, кто хотя бы немного интересовался этим делом, знает, что даже при одинаковой технике картина гипнотического состояния меняется в зависимости от гипнотизера и гипнотизируемого.

Следовательно, лишь с помощью какого-либо психического впечатления, фасцинации, подчинения, ужаса или внушения, которое учитывает эти аффекты, достигается наиболее возможное выключение всего того, что не соответствует желанию внушающего, все другие гипнотические симптомы являются результатом случайного внушения или же

специфическими реакциями данного индивида, и потому они могут видоизменяться в том или ином случае. Находится ли, например, гипнотизируемый «в сознании» или нет, уподобляется ли он спящему, появляется ли у него вслед за гипнозом амнезия — все это представляется несущественным и зависит от случайных или же сознательно сделанных внушений.

Если Нансийская школа усматривает аналогию между гипнозом и сном, то это так же само собой понятно, как и то, что какая-либо другая школа не находит этой аналогии.

Льебо весьма отчетливо внушает сон; медиуму не остаётся ничего другого как подражать, насколько это возможно состоянию сна.

Выключение критики с помощью аффектов, а вместе с тем и с помощью внушения представляется настолько повседневным явлением, что мы не будем его обсуждать. Отщепление любого иного комплекса идей мы рассматриваем не только как действие аффективности в более тесном смысле но и как следствие внимания. Таким образом, нет ни одного гипнотического феномена, который нельзя было бы объяснить простым торможением или содействием проявлению той или иной психической функции в том же самом смысле, как это делают аффекты. Но только у гипнотизируемого очень легко вызвать все это в преувеличенной степени, т. е. в таком необычном масштабе, в каком это оказывается возможным для аффектов лишь в исключительных случаях, т. е. когда психическое состояние в высшей степени поколеблено.

3. ПАРАНОЙЯ **Аффективность, внушение, паранойя** Э Блейлер

Случай 1. Женщина, незамужняя, родилась в 1853 г., лютеранка. Единственный брат пациентки отличается легкомыслием, в незначительной степени злоупотребляет алкоголем. В остальном, согласно анамнестическим данным, не отмечается психоневротической наследственности.

До своего заболевания паранойей пациентка была душевно и физически здорова, жизнерадостна и не обладала особыми, бросающимися в глаза чертами характера. Всегда отличалась положительностью, прилежанием, педантичностью; по некоторым сведениям больная была несколько упрямой и легко возбудимой. Последнее подтверждается пациенткой; в настоящее время эти черты выражены нерезко. Она хорошо успевала в начальной школе, посещала среднюю школу в течение двух лет. Перед окончанием школы ее отец был вынужден оставить свою профессию живописца вследствие тяжелого отравления свинцом и заняться торговлей гастрономическими товарами. Отец пациентки умер в 1870 г.,

через два года после открытия магазина. Хотя дело шло хорошо, тем не менее наследство попало в конкурсное управление. Мать спасла свое приданое. Незадолго до смерти отца пациентки магазин был взят на свое имя ее дядей (мужем сестры ее отца), который имел хорошее состояние и дал деньги для открытия магазина; при этом по договору купли-продажи пациентка была уполномочена заведовать магазином. Около двух лет спустя пациентка оставила это место. Причина этого остается единственным неясным пунктом в ее жизни. Теперь она вспоминает только то, что она сама отказалась от этого места и что ее дядя передал магазин своей экономке, ставшей впоследствии его второй женой. После этого пациентка поступила прислугой в заведение для лечения естественными силами природы, в котором она пробыла в течение года, но у нее создалось такое впечатление, что там занимаются шарлатанством. Затем один из тамошних пациентов устроил ее на место няни в Италии: «Я думала как раз тогда о необходимости изучения иностранных языков и вообще о приобретении надлежащих знаний». Там ей жилось хорошо, но полтора года спустя она была вынуждена вернуться на родину вследствие болезни ее матери.

По выздоровлении матери пациентка получила работу по снятию копий в канцелярии одного судебного учреждения, но заработок ее был очень незначителен и нерегулярен. Та же самая подруга, которая помогла ей найти эту работу, устроила ее на ответственное место в ювелирном магазине (1875), в котором она вела бухгалтерию и контролировала подмастерьев, а также проверяла количество поступающего и расходуемого серебра (равно как и опилок). Здесь она пробыла три года, пока дядя не пригласил ее опять в свой магазин, так как его вторая жена умерла (1878). В тоже время один из его сыновей вступил в дело и поселился у них в доме. Так как и у отца и у сына были дети однолетки, то в семье происходили частые ссоры. Обе стороны посвящали пациентку в свои переживания, что было ей, разумеется, неприятно, «я находилась постоянно между молотом и наковальней». Видимо, уже тогда у нее время от времени возникало подозрение, что враждующие стороны могли считать ее виновницей ухудшения их взаимоотношений, как это, впрочем, могло бы случиться и с здоровым человеком. Поэтому она в 1881 году отправилась к своей матери, с которой она теперь стала очень близка, и занялась выделкой сливочных конфет и «гюпен» (цюрихское специальное десертное печенье). Это дело шло очень хорошо. Обе женщины были всегда завалены заказами и переутомлялись работой, которая требовала большой усидчивости и физической выносливости.

В 1888 году заболела разносчица товаров, забиравшая у них больше всего печений. Тогда пациентка начала беспокоиться: если эта разносчица умрет, они не смогут сбывать свои

продукты в достаточном количестве. Она строила разные планы, как выйти из этого затруднительного положения, но должна была отбросить их. Вместе с тем она остановилась на мысли, что некоторые люди помогут ей выйти из этого затруднительного положения, если они с матерью не выбьются сами. Несколько недель спустя разносчица поправилась, и все вошло опять в свою колею; одновременно с этим исчезли опасения пациентки, и были полностью скорректированы зачатки идей преследования. Однако в декабре 1889 года разносчица умерла скоропостижно, после чего опять возобновились ее опасения и притом в большей степени. Пациентка пришла к мысли создать себе более прочное положение посредством заведования отделением одного торгового предприятия; при помощи своего дяди она получила возможность это достичь и даже подписала договор; во время подписания договора ею овладело сомнение в возможности просуществовать таким путем, и на следующий же день она отказалась от службы.

С этих пор началась собственно болезнь. Разорение представлялось пациентке неминуемым; она не зарабатывает того, что проедает; она упрекала себя в том, что она сама не разносила товары по домам, хотя это было несовместимо с работой по производству, да и дела шли еще вполне удовлетворительно. Покупатели, приходившие в лавку, делали это только для вида, в действительности же никто из них не хотел ничего покупать. Она становилась все более педантичной при изготовлении товаров и упрекала свою мать, если та оказывалась менее точной, в то время как раньше она вела себя безупречно по отношению к матери. Она сама признавала это, потому что однажды она услышала, как один из соседей сказал: «Если бы у меня был такой ребенок, я отколотил бы его и не давал бы ему жрать». Она, конечно, отнесла эти слова на свой счет. Она еще и теперь продолжает утверждать это. Логика, с помощью которой она доказывает свою правоту, весьма характерна; несомненно, она была невежлива по отношению к матери; в доме все слышно, а этот сосед-пьяница всегда облекает свои мысли в грубую форму. Первым основанием является фактически возможность того, что речь шла о пациентке; остальные же доводы являются доказательствами возможности того, что сосед сказал что-то в этом роде и что она могла это услышать. Для пациентки же это составляет безусловно верную цепь выводов в пользу того, что речь шла именно о ней.

Вообще она слыхала много разговоров о себе, а именно: говорили, что она будет вынуждена нищенствовать; затем опять критиковали ее поведение и делали замечания вроде следующего: теперь она опять занимается тем-то; однажды в то время, когда она шила, пришел врач, которого пригласили без ее ведома. Тогда она услышала, как дворник сказал: «Да, теперь

она шьет, а вообще она ничего не делает».

Самым важным событием того времени, по словам пациентки, было следующее: она услышала однажды, как домовладелец сказал, что он уже думал о том, что настанет когда-нибудь время, когда можно будет ей отплатить. Она тотчас же подумала о дяде и о двоюродных братьях, которые должны ей за что-то мстить. До того она никогда не думала, что они могли иметь что-либо против нее (кроме неопределенного подозрения, что она — виновница домашнего раздора).

Она совершенно определенно утверждает, что у нее никогда не было галлюцинаций, о которых пациентка имеет точное представление. Все говорилось при таких условиях, что говорящий мог быть услышан, и голоса получали естественную локализацию. Однако, рассказанные пациенткой события (одни только эти события) представляются подозрительными в смысле галлюцинаций или иллюзий. Позже и теперь здесь, где в течение многих лет анализируются субъективно и объективно все ее бредовые идеи, никогда не было обнаружено никаких обманов чувств. Правда, пациентка рассказывает очень часто нечто такое, что, по-видимому, может быть истолковано только как галлюцинация. Но если потребовать, чтобы она точно воспроизвела сказанное, чего при терпении можно добиться всякий раз, или же если можно объективно установить, что было сказано, то во всех без исключения случаях выясняется, что речь идет только о ложном истолковании сказанного применительно к ее личности. Однако, для пациентки представляет видимое затруднение передать ложно истолкованные ею слова, не относя их на свой счет. Ей кажется, что она вполне точно воспроизводит слова пастора, когда она рассказывает, будто он говорил, что она впадет в нищету, в то время как он говорил о впадении в нищету вообще. Иногда нужны весьма энергичные и многократные требования для того, чтобы она точно передала сказанные кем-либо в действительности слова, и все-таки, несколько секунд спустя, она воспроизводит их в соответствующем ее бреду истолковании. Ввиду стоящей вне всякого сомнения полной правдивости больной и ее собственного интереса к психологическому анализу — исключается возможность намеренного извращения. Следует еще отметить, что, по крайней мере, во время нынешнего пребывания в Бургтельцли пациентка относит на свой счет определенное событие не непосредственно после совершения его, а лишь несколько часов спустя, часто даже на следующий день, а иногда и еще позже. Бред отношения требует для своего развития определенного инкубационного периода. Затем важно подчеркнуть, что еще ни разу не случилось, чтобы заслуженный упрек или замечание относительно работы больной получили с ее стороны бредовое истолкование. А между тем для этого было не мало поводов, так

как, несмотря на хорошие способности и добросовестность пациентки, она неизбежно делала то или иное не так, как нужно было бы, вследствие сложности задававшейся ей работы и вследствие того, что бредовые идеи часто отвлекали ее от основной задачи. Она всегда скромно выслушивала замечания, быстро схватывая их сущность. Она всегда связывала свои бредовые идеи с нормальными, безразличными событиями. При заслуженном упреке направление мыслей и эмоций определяется данными обстоятельствами, в то время как при безразличном высказывании говорящее лицо более свободно в выборе темы. Не кроется ли в этом различии объяснение этого поразительного факта?

В конце 1890 года пастор произнес проповедь на тему «Бог помогал до сих пор, будет помогать и впредь». В этой проповеди, произнесенной в канун Нового года, пациентка услышала только первую часть: «Бог помогал до сих пор». Она отнесла эти слова на свой счет: бог не будет помогать ей в будущем. И с этих пор ей постоянно слышались намеки на ее будущую нищету в проповедях различных пасторов.

Желая покинуть свой дом, она отправилась однажды к подруге, которой она стала помогать в работе по хозяйству. Когда она работала на кухне, ей показалось, что за ней наблюдают из соседней комнаты через отверстие, находившееся якобы за книжной полкой. После того, как ей доказали, что там нет никакого отверстия, она стала подозревать, что в доме есть какое-то другое приспособление — например, зеркало, при помощи которого можно было наблюдать за ней. Один пекарь сжег пирожное, которое ему дали испечь, и она подумала, что тот сделал это нарочно, чтобы дать ей этим понять, что она плохо работает. (Теперь она понимает ошибочность всех этих идей).

Летом 1891 года она отправилась в Дармштадт с одной своей знакомой, которая собиралась заняться там изготовлением цюрихских печений. Однако, несколько недель спустя она была вынуждена вернуться. Она не могла больше работать как следует, причем люди преследовали ее еще больше, чем прежде, своим злословием, сводившимся к тому, что она теперь разорена и что никто не окажет ей никакой помощи. Она полагала, что дома она сможет лучше работать в привычной для нее обстановке, но она ошибалась: работа почти совсем не клеилась. Она сама говорила, что она едва была в состоянии вязать. Она стала уже тогда высказывать мысли о самоубийстве.

18 августа 1891 года пациентка была доставлена в Бурггельцли с диагнозом: меланхолия. Она стала высказывать здесь те же самые жалобы и требовала выписки. Здесь ей нечего делать. Ей говорили, что она сможет здесь работать, и поэтому она

привезла с собой большое количество старых платьев для починки. Ее задерживают только потому, что она привезла с собой платья, причем и здесь за ней ведется тайное наблюдение. Нет никакого смысла задерживать ее здесь, где на нее расходуют деньги, в то время как она могла бы зарабатывать. Это удручает ее вдвойне, потому что она видит, что за ней наблюдают, все знают ее положение и говорят о том, что она бьет баклуши, ничего не зарабатывая.

В конце 1891 и в начале 1892 года ее двоюродный брат предоставил ей возможность заниматься письменной работой в психиатрической больнице; она хорошо справлялась с порученной ей работой, но была все-таки недовольна собой и считала, что ей платят гораздо больше, нежели стоит ее работа, вследствие чего она не вправе получать за нее деньги. Между прочим, она жаловалась и на своих родственников, которые не заботятся о ней и не оказывают ей помощи, как они обещали. Она часто плакала над своим положением, а также над участью своей матери, которая не сможет сама свести концы с концами. С самого начала своего пребывания в больнице она работала весьма прилежно; она всегда вела себя корректно. Как только заходила речь о ее выписке с тем, чтобы родные устроили на какую-нибудь службу, она полагала, что она не сможет служить и должна будет остаться поэтому у своей матери, 9 февраля 1892 года она была выписана на попечение своей матери, как поправившаяся, с диагнозом: первичное помешательство. Несмотря на то, что по словам матери у нее было больше заказов, чем она может выполнить, пациентка не решилась сначала взяться за прежнюю работу. Она думала, что заказы будут продолжаться только до тех пор, пока она дома, а затем они прекратятся. Лишь некоторое время спустя она стала несколько увереннее; все же она подыскивала еще нескольких заказчиков, прежде чем приняться опять за изготовление печений.

Однако, болезнь не прекратилась. Все люди давали ей понять, что ее заработкам пришел конец и что она еще попадет в приют для нищих. Точно также и пастор постоянно намекал на это в своих проповедях. Мысли о самоубийстве становились все настойчивее, и лишь своевременно всплывавшая мысль о матери удерживала пациентку от осуществления этого намерения. После этого она поступила на несколько недель в частную лечебницу, откуда была выписана с улучшением. Затем имело место покушение на самоубийство (больная пыталась утопиться), от которого она вовремя была спасена. Следующие два года прошли сравнительно спокойно: пациентка могла работать, но часто заходила к знакомым пожаловаться на свое скверное материальное положение и на неудачное ведение своего дела, а иногда даже просила у них помощи — несмотря на то, что в действительности дело шло хорошо. Постепенно ей

опять становилось хуже, причем она стала обвинять в своем несчастье других, а именно своего дядю и его сыновей. «Но по большей части она возлагала всю вину на себя самое». Конечно, это выражение, которое она употребила относительно себя самой, не следует понимать в точном его смысле. В общем ее преследовали, по ее мнению, несправедливо; даже в тех случаях, когда она заслуживала наказания, месть и злорадство заходили слишком далеко.

Однажды утром она облила себя керосином и подожгла. Объятая пламенем, она взывала о помощи и была спасена несмотря на обширные ожоги. Во время ее пребывания в госпитале ничто не обращало на себя внимания за исключением некоторой неустойчивости, подавленности настроения и того обстоятельства, что она принимала на свой счет многие безобидные замечания окружающих в том же смысле, что и раньше. Когда ее ожоги немного зажили, она была доставлена в Бурггельцли (16 декабря 1898 г.).

Здесь она вела себя все время корректно. Сначала она прилежно работала, но ее идеи оставались неизменными, хотя они то отходили на задний план, то вновь занимали первое место.

Наряду с всевозможными другими хозяйственными работами пациентка образцово исполняла переписку набело экспертиз; впоследствии на нее было возложено снятие копий, ведение регистратуры и т. п. но врачебной канцелярии, где она сделалась незаменимой главной работницей. Она была также в течение двух лет моей личной секретаршей, заботясь при этом также и о делах и финансах психиатрического ферейна, членом которого я состоял. Все шло хорошо; только, когда пациентка бывала в кирхе или уезжала на короткое время домой или же когда она бывала занята своими бредовыми идеями, она делала иногда ошибки, которые старалась затем исправить. Однако, в конце концов, она перестала работать у меня, так как втянула в свою бредовую систему моих родственников и находилась в почти непрерывном возбуждении. В отделении и в канцелярии все идет хорошо с некоторыми кратковременными перерывами. У нее есть ключ от отделения и от канцелярии, причем она вообще пользуется большим доверием, чем многие служащие.

Хотя она и замечает в мелочах, что ее бред отношения ошибочен в том или ином пункте, тем не менее она крепко придерживается своей бредовой системы; ее дядя и родственники в свое время при семейных раздорах подозревали ее в том, что она была каким-то образом виновна в этих ссорах. Вследствие своей собственной нерешительности она по своей вине привела дела в упадок после смерти разносчицы товаров. Этим моментом воспользовались ее родственники для мести. Другие люди тоже были настроены враждебно по отношению к

ней и радовались ее разорению. Все эти враги объединились. Они предупредили пасторов всех тех мест, например, где она посещала кирхи, так что они постоянно произносили проповеди специально о ней; в этих проповедях они говорят о том, как она будет несчастна или как она упустила то-то и то-то, что могло бы еще помочь ей. Точно также и в больнице директор и врачи заодно с ее преследователями. Я, например, всегда осведомляю их письменно, по телеграфу и по телефону, когда пациентка отправляется в кирху, так что пастор и другие причастные к этому лица готовятся к ее посещению. Я сообщаю также и служебному персоналу все, что касается пациентки, вследствие чего санитарки делают всегда «косвенные» оскорбительные и порицающие замечания. Я не принадлежу, конечно, к числу ее личных врагов, но я хочу наказать ее за то, что она сделала многое не так, как следует, и это наказание она заслужила. Правда, я часто обещал ей, что буду помогать ей насколько возможно, но я мог бы устроить ее на хорошее место, на котором она могла бы, по крайней мере, зарабатывать себе на хлеб; но теперь уже слишком поздно; она пренебрегла моей помощью; она ее недостойна.

Вне этих бредовых идей (или же когда они отступают на задний план) ее эмоциональная жизнь вполне нормальна: радость при виде прекрасного, любовь к матери, благодарность (даже ко мне) — все это сохранено. Интеллект больной выше среднего уровня. Пациентка сохранила даже некоторый интерес к посторонним вещам; она ставит диагнозы; относится отрицательно к понятию *dementia praecox*, так как оно слишком широко и т. д. Как вне своих болезненных идей, так и в их пределах она гораздо скромнее, чем этого можно было бы требовать от нормального человека. Она в значительной мере недооценивает свои способности. Ее восприятие, апперцепция вполне нормальны. Вещи и ситуации отнюдь не представляются ей «иначе», чем до заболевания. Только в пределах бредовых идей отмечается нечто такое, что может быть истолковано в смысле ложной оценки. Субъективно, по собственным восприятиям больной, это выражение не подходит и к тем случаям, когда желательно обозначить изменение оценки по сравнению с прошлым. Я придаю большое значение субъективным впечатлениям пациентки, так как, несмотря на все, она сохранила большую объективность по отношению к своей болезни. Она знает очень хорошо, что именно мы считаем болезненным; с ней можно говорить о ее бредовых идеях, как с третьим лицом. В сравнительно хорошие периоды она сама считает себя больной и признает в принципе патологические элементы в ее бреде отношения, но в то же время она настаивает на правильности своих предположений (или наблюдений, как она полагает) в отдельных случаях, о которых в данное время идет речь. Она может также сказать совершенно спокойно, что она внесла коррективы в ту или иную деталь; если же обратить ее внимание

на то, что ее теперешние бредовые идеи тождественны с теми, она может совершенно правильно возразить, что они еще слишком свежи; возможно, что несколько лет спустя она будет совершенно другого мнения на этот счет. Тем не менее она спорит относительно паранойи у других и стремится убедить меня в том, что у нее дело обстоит иначе, потому что ее идеи основаны только на фактах. Когда я спрашиваю ее о том, какие у нее основания думать, что я прилагаю столько усилий для причинения ей вреда, в то время как ей (лучше чем кому-нибудь другому) известно, насколько я дорожу своим временем и насколько я стеснен в средствах — она нисколько не смущается, хотя и не может привести каких-либо более или менее вероятных обоснований. Дело обстоит так, как она говорит: я хочу ее наказать; она не нуждается в дальнейшем обосновании; для нее не существует возражения, что я не могу осуществить приписываемых мне действий по многим причинам; таким образом, за этими предполагаемыми действиями и, которые она приписывает мне, не скрывается также и бред величия; она не делает того само собой понятного для нормального человека вывода, что если прилагают так много усилий, чтобы причинить ей вред, то она должна быть выдающейся персоной.

Для иллюстрации того, как далеко заходит у больной бред отношения, я приведу еще несколько примеров.

В начале болезни пациентки пастор сказал в проповеди: «Со дня Нового года у меня не выходит из головы: паши новь, не сей между терниями». Вскоре после этого по улицам носили в виде масленичной шутки изображение прыгающей свиньи с надписью: «выступление знаменитой наездницы мисс Дорн» (Dorn — по немецки — терний). Тогда пациентке стало ясно, что люди поняли намеки пастора. Свинья — намек на то, что больная была «непорядочной».

Надзиратель отделения входит, насвистывая, в канцелярию. Бредовая идея: директор больницы хочет отстранить ее от работы; люди знают об этом и уже радуются этому.

Какой-то неизвестный человек идет по направлению к дому и зеваает. Он хотел дать ей понять, что она лентяйничает и должна быть отстранена от работы.

Когда она была еще у себя дома, она прочла в одной газете, что в Базеле какая-то девушка упала с лестницы. Бредовая идея: журналист хочет дать ей понять, что, находясь на прежней службе, она недостаточно хорошо вытирала пыль с лестницы.

С 1906 года состояние пациентки оставалось без существенных перемен, хотя на ней и сказалось действие возраста. В течение некоторого времени она служила прислугой в семье пастора, но

ее бредовые идеи привели ее вскоре опять в больницу. Здесь в канцелярии больницы она ведает снятием копий и регистратурой, иллюзорно воспроизводит в памяти отдельные события, формирует новые бредовые идеи отношения, которые она присоединяет к старой бредовой системе. Прежняя фиксация бредовых идей на ее родственнике, с которым я якобы поддерживал какие-то отношения, побледнела после того, как он умер несколько лет тому назад. Болезненные идеи с наступлением старости стали несколько проще и однообразнее, а вызываемые ими жалобы стали более слабыми и кратковременными. Сама же болезнь осталась без перемен.

Пациентка очень мало отягощена наследственно; интеллектуально и этически она развита выше среднего уровня. Если бы она была мужчиной, у нее было бы очень много шансов пойти далеко. Со времени своей зрелости она жила в большой близости с благожелательно относившимися к ней родственниками. Болезнь и смерть ее отца, а также бережливость (но не скупость) ее матери рано заставили ее думать о заработке и положении в жизни. Она стремилась достичь чего-то и, благодаря своим способностям, имела право желать этого. В противоположность этому сексуальность отступает у нее на задний план. Хотя пациентка представлялась по своему развитию нормальной в половом отношении и была миловидной девушкой, тем не менее она никогда не думала серьезно о браке, между прочим, еще и потому (как она говорит сама), что она не вышла бы замуж за первого встречного, а по отношению к тем, которые соответствовали ее желаниям, она стояла слишком низко по своему общественному положению. Судьба приковывает ее окончательно к такому роду занятий, который не мог использовать ее духовных сил и требовал большого физического напряжения, но которого она не могла, однако, оставить, так как эти занятия кормили ее и мать, причем обе женщины могли даже откладывать кое-что каждый год. Таким образом, все ее психическое бытие было связано с этой работой.

Затем в связи с болезнью и смертью разносчицы товаров наступают затруднения, и хотя больная в своем страхе несколько преувеличивает их, тем не менее, они не были ею вымышлены. Под влиянием страха она больше не в состоянии ясно судить обо всем; даже вполне обеспеченное существование, которое по человеческим расчетам могла предоставить ей служба в гастрономическом магазине, кажется ей ненадежным. Ее собственное умение, на которое она втайне возлагала, конечно, много надежд, представляется ей недостаточным при таком положении. Она должна впасть в нищету. До сих пор нет ничего такого, что при аналогичном положении не наблюдалось бы и у нормального человека. Разница заключается только в том, что человек, остающийся здоровым, после улучшения

своего положения и после ослабления аффекта корректирует свои ложные идеи. К этому пациентка неспособна — прежде всего вследствие вытесненного чувства недостаточности, как показывает опыт. Однако, нужно обратить внимание и на другие обстоятельства, участвовавшие и способствовавшие возникновению и формированию ее бреда.

Здесь прежде всего следует отметить переживания, связанные с богатыми родственниками и играющие часто важную роль у здоровых и больных. В данном случае они имеют значение во многих отношениях. У нее должны были быть переживания вроде зависти по отношению к тем, которые достигали того, о чем она мечтала как о желанной цели, хотя при безупречном характере девушки это чувство оставалось, по видимому, бессознательным. Затем эти родственники могли бы оказать ей помощь, если бы они этого хотели. Правда, они в действительности вели себя по отношению к ней хорошо и даже жертвовали своими деньгами, но не могли же они в ущерб себе обогатить пациентку и ее мать. Кроме того в данном случае важную роль играют прежние, строго деловые, взаимоотношения с ними. Будущая больная чувствовала себя у них вначале хорошо, но должна была затем уступить свое место молодой женщине. У меня нет оснований предполагать, что она думала об улучшении своего положения с помощью брака, но каждая девушка пришла бы к этой мысли; пациентка оставила это место, вероятно, не без некоторой горечи. Спустя некоторое время она вторично попала в этот дом, и опять-таки при таких условиях, которые должны были сильно волновать ее в нравственном отношении, а именно — во время раздоров в семье, когда она чувствовала себя между молотом и наковальней и должна была присутствовать при том, как ссорились между собой близкие ей люди. Это состояние беспомощности не могло не возбудить самопроверки у этой порядочной натуры, с ее конституцией, склонной к депрессии: не могла ли она помочь делу? не была ли она виновна в том, что она выслушивала обе стороны? не думали ли, по крайней мере, ее родственники, что она была виновна? Все эти вопросы глубоко запали в ее душу, и когда она чувствует, что у нее под ногами колеблется почва, ее мысли направляются (что вполне понятно) в сторону родственников, прежде всего потому, что это были те люди, от которых только и можно было ожидать получения помощи, а затем также и потому, что она спрашивает себя: *сui bono?* В течение всей своей жизни она никому не причинила зла; в крайнем случае, лишь одни эти родственники могли вообразить себе, что она причинила им вред. И когда она слышит, как кто-то говорит, что когда-нибудь наступит время для того, чтобы отплатить ей — ей становится ясным, что у этих людей имеется основание, хотя и воображаемое, отказать ей в поддержке и даже активно преследовать ее.

Второй важный момент заключается в том, что при уединенном образе жизни пациентки и ее обособленности от людей, к кругу которых она принадлежала, у нее не могло не возникнуть (сознательно или бессознательно) известное чувство отчуждения от окружающих. Другие люди относятся к таким лицам совершенно иначе, чем к человеку обычного типа. Когда она становится несчастной, люди, видевшие в ней до сих пор нечто особенное, должны испытывать известное злорадство. Отсюда вытекает сначала боязнь, что люди в деревне радуются ее несчастью, а затем идея, что они способствуют углублению ее несчастья с помощью намеков и клеветы.

Детальное рассмотрение субъективных и объективных соотношений ко времени возникновения ее болезни не показывает нам, таким образом, ничего другого, кроме заблуждений, которые встречаются также и у здоровых при аналогичных аффектах, и нанизывании случайных переживаний на комплекс мыслей, беспрестанно активируемый аффектом и течением мыслей, что точно также соответствует нормальным психическим процессам. Болезненными представляются только фиксация заблуждения, вследствие чего последнее становится бредом, а затем дальнейшее распространение бреда, вследствие чего это уклонение от нормы становится паранойей.

Ошибочность мышления заключается, главным образом, в образовании болезненного представления об отношении других людей к ее личности и обманов памяти, так что правильная логическая операция, основанная на них, должна привести к неправильным выводам. Однако, сам процесс умозаключения в направлении, соответствующем бреду, протекает и у человека с хорошо развитым интеллектом более или менее легко. Необоснованные оценки отношения к себе других людей, извращение воспоминаний и неосторожность в выводах, соответствующих направлению аффекта, представляют собой обычное явление у каждого здорового человека.

В нашем случае формирование бреда носит специфический характер: пациентка обладает несколько депрессивной конституцией, и последняя, само собой разумеется, окрашивает ее бредовые идеи. Стремление домогаться большего, нежели это достижимо, свойственно не одному только маниакально-эйфорическому предрасположению, хотя тенденция депрессивного больного «я хотел бы иметь то-то» не совсем равноценна качественно тенденции маниакального больного «я должен иметь то-то». Отсюда проистекают боязливые опасения больной как при зарождении бредовых идей, так еще и в настоящее время, когда она ожидает, что мы когда-нибудь выбросим ее на улицу; отсюда же вытекает ее недоверие к собственной работоспособности, не позволившее ей поступить на службу в гастрономический магазин; она даже часто искала

— явление редкое у параноиков — причины своих неудач в собственных ошибках, считала, что ее труд слишком высоко оплачивается; наконец, сюда же относится и тенденция к самоубийству, причем выбор средств, во всяком случае, свидетельствует о крайнем упорстве в этом направлении. Поэтому поставленный участковым врачом диагноз меланхолии не был лишен основания.

Настоящий случай, между прочим, представляется подходящим для освещения соотношения паранойи и нравственности. Утверждают, что болезнь разрушает нравственность. Это правильно лишь постольку, поскольку при этой болезни можно говорить об интеллектуальном слабоумии. С течением времени бредовая система становится для больных религией, в их глазах во всем мире нет ничего более важного, и им представляется вполне правильным, что все другие интересы отступают на второй план, подобно тому как ничто не может занимать религиозного человека при виде кощунства. Наша пациентка была в течение десятков лет образцом добросовестности, и теперь она еще во многих отношениях более надежна, чем многие здоровые должностные лица. Однако, она с каждым разом относится все более и более безразлично к своим упущениям и даже ошибкам; конечно, можно было бы поручить ее работу должностному лицу, которое получает за это жалованье и усмехается себе в бороду, когда больная выполняет за него работу. Этика, как таковая, у нее сохранилась, но дефект ее состоит лишь в том, что аффективно окрашенный комплекс все чаще и чаще становится для нее преградой, затрудняющей для нее приспособление к той или иной ситуации.

Случай 2. Приказчик. Родился в 1855 г. Отец — алкоголик, покончил жизнь самоубийством. В остальном наследственного отягощения не отмечается. Был нормальным ребенком, несколько скрытным; был любим друзьями, внешне застенчив, но всегда считал, что он лучше других. Воспитывался у бабушки, которая баловала его, давала ему много денег. Посещал начальную, среднюю и промышленную школы. Затем провел три учебных года в Италии, где бездельничал, много пил и путался с женщинами. Он возвратился на родину в несколько худшем положении, но в течение 3 лет хорошо работал в конторе одного телефонного общества; он довольно много пил, хотя считался положительным человеком. После того он в течение 8 лет образцово исполнял свои обязанности в канцелярии одной большой полугородской общины, взимая в ее пользу подати. При этом он был мнителен. Однажды в 1896 году у него обнаружился излишек в 20 франков. Он тогда уже подумал о том, что может быть кто-то подложил ему эти деньги, чтобы испытать его честность (мысль, которая появляется нередко и у здоровых), но он представил это дело естественному течению вещей и больше не думал о нем. В конце 1890-ых годов у него оказался в кассе

недочет в 50 франков, которого он никак не мог выяснить, несмотря на все усилия, и который был принят общиной без всяких возражений. Ни один человек не высказал ни одного слова неудовольствия или же порицания.

Затем в 1899 году был опять обнаружен недочет в 40 франков. Он не решался заявить об этом, но не мог также и сам покрыть эту сумму, так как израсходовал свои деньги. Тогда он пришел к мысли заприходовать государственный налог, причитавшийся с одного уехавшего лица, за 7 месяцев вместо 9 и обратить образовавшийся таким образом излишек на покрытие недочета. В результате этого государство понесло убыток в размере 40 франков, которые поступили в пользу общинной кассы. Возможность обнаружения его незаконных действий была почти исключена, но его мучило сознание своей вины. Он был слишком умен, чтобы по его виду можно было просто раскрыть совершенное им преступление. Зато по лицу явно распознаются грехи молодости и распутство. А он предавался разврату и сильно раскаивался в этом в течение последних двадцати лет. Следы излишеств должны быть замечены людьми. Из этого они могут сделать вывод, что такой человек как он, который очень плохо вел себя в молодости, способен впоследствии совершить растрату из доверенной ему кассы. Тюремный служащий, с которым он часто встречался, возымел намерение соответственно своей профессии все разнюхать. Он уже докопался до того, что пациент делал раньше, и разболтал об этом. Все люди это знают, они смотрят на него так странно и беспричинно ему улыбаются. В газете появилась заметка, которая была подписана буквами Ч и С и относилась к нему; буквы обозначали: человек-свинья. Новый общинный писарь был заинтересован в его уходе. Может быть, у него украли деньги, чтобы испытать его, а он так плохо выдержал это испытание. Повсюду, куда бы он ни пришел, люди говорят о вещах, относящихся к нему.

Теперь он понимает многое из прошлого, что тогда не бросалось ему в глаза. Он видит по многим признакам, что его уже давно хотели испытать и т. д.

Наконец, он не мог уже больше этого выдержать, в последнее время он (объективно) очень напряженно работал. Он отказался от места, получил отличный отзыв, лечился в течение многих месяцев, но очень мало поправился. Он поступил на одно место в Италии, но и там не удержался долго, так как повсюду делали намеки: «Дело обстояло так, как будто бы все торговцы знали его предшествующую жизнь». Он отправился в кантон Цуг, где пробыл в течение года, а затем бежал отсюда в значительно худшем состоянии. В последнее время он очень много пил, чтобы заглушить свое отчаяние; но и в трактире делали на него намеки и даже начали обвинять его в отдельных преступлениях,

о которых тогда писали в газете. Он явился в полицию, требовал расследовать, что он совершил одно лишь преступление, в котором он сознался своему начальству перед уходом, во всем же остальном он не виноват.

12 ноября 1903 года он прибыл в Бурггельцли. Он сильно дрожал; у него был легкий стигматизм; при более сильном возбуждении он заикался. В остальном без особых отклонений от физической нормы. Он рассказывал совершенно ясно о своих мытарствах. Поведение его было боязливым, робким и несколько почтительным. Он скоро успокоился и отдохнул в больнице, где чувствовал себя в безопасности душевно и физически. Он работал очень прилежно и умело, составляя таблицы и т. п. Когда у него не было письменных занятий, он работал по сельскому хозяйству. Однако, его бредовые идеи оставались непоколебимыми. 16 декабря 1903 года он был выписан; он хотел работать в деле своего родственника. 3 дня спустя он вернулся в больницу по собственному желанию; преследование его еще продолжалось. Его поведение оставалось без перемен. Однако, он рассказал еще одну бредовую систему: богатый родственник, у которого он воспитывался и который принимал в нем и теперь бескорыстное участие, — педераст. Последний знает, что пациенту об этом известно, поэтому он должен быть заинтересован в устранении пациента. Интриги исходят отчасти от него. Его родственник поджег сеновал, который когда-то сгорел у него. Далее ему пришло в голову, что однажды лет 18 тому назад он (пациент) находился возле смертного ложа одной дамы, которую он очень любил. Там же находилась другая женщина, ненавидевшая больную. Врач посмотрел на эту женщину многозначительным взглядом, после чего она дала что-то принять больной, которая вскоре скончалась. Теперь ему известно, что эта дама была отравлена. С течением времени пациент успокоился настолько, что заявил о своем намерении покориться и ждать, пока кто-нибудь не потащит его в суд или не обвинит его в глаза. 22 апреля 1904 года он был выписан. С этого времени он вел воздержанный образ жизни и усердно работал на новом месте, пока фабрика, на которой он служил, не сгорела; впервые в жизни он сделал теперь даже кое-какие сбережения. 24 февраля 1905 года он опять явился в больницу. Бредовые идеи стали значительно слабее. Он допускал, что в отдельных случаях он ошибался, в других же он признавал возможность заблуждения. Ему, как состоявшему под опекой, стоило больших трудов найти себе другое место. Может быть, в этом кроется причина того, что несколько недель спустя ему стало хуже; говорили о его новом интернировании, но в этом не было тогда надобности. С весны 1905 года мы не имеем о нем никаких сведений.

На всем протяжении болезни не отмечено никаких следов

галлюцинаций или иллюзий.

Отягощенный алкоголизмом отца, умственно хорошо развитой мальчик с надлежащим нравственным уровнем, но с довольно слабой волей (вследствие чего он теряет равновесие в дурной среде) становится неустойчивым благодаря воспитанию бабушки. Он предается на чужбине половым и алкогольным излишествам, которые вызывают у него впоследствии угрызения совести. В течение 17 лет затем он ведет себя хорошо, хотя и отдает дань местному обычаю пьянствовать. (Он считался окружающими положительным человеком и пользовался любовью.) Затем дефицит в кассе, в котором он, может быть, вовсе не был виноват, толкает его на неправильный путь. Он упрекает себя за этот поступок, вследствие чего у него оживают старые угрызения совести за свой образ жизни в Италии. Последние дают нередко повод также и нормальным людям думать, что за ними наблюдают, однако, в данном случае эти идеи не корригируются, и таким образом возникает паранойя. Другая бредовая идея формируется вокруг комплекса о богатом родственнике, который — не оказывал ему существенной поддержки и который должен теперь стремиться к интернированию больного в Бурггельцли. Он должен быть заинтересован в этом; следовательно, — он преступник. Старый эротический комплекс, казавшийся уже изжитым со смертью возлюбленной, в конце концов тоже связывается с бредом и выражается в истории с отравлением.

Таким образом, мы видим и в этом случае, что нормальные проявления аффективности приводят к бредовым идеям вследствие того, что возникающее обычным путем заблуждение не может быть больше корригировано, и даже втягивает в свой круг все новые и новые переживания; разумеется, последнее имеет место при длительном господстве одних и тех же аффектов. В данном случае нет никаких следов маниакального состояния. Его темперамент обнаруживал скорее тенденцию к депрессии; на это указывают: его тяжелые угрызения совести и его реакция на (не вмененный ему в вину) дефицит в кассе, значение, которое он придавал этому событию, и беспомощность, заставившая его видеть единственный путь в подлоге, который привел его из огня в полымя. Однако, аффективное состояние, лежащее в основе таких реакций, отстоит еще очень далеко от нормального состояния депрессии.

Случай 3. Инженер — машиностроитель, родился в 1855 году. Отец и дед по отцу — картоферы. Очень хорошо развитой физически, красивый мужчина. В детстве способный, веселый мальчик, но несколько обидчивый и нелюдимый. Учился и работал в течение 5 лет на большой машинной фабрике. Затем отправился за границу. Его брат собирался уехать в Кап и отправился в Марсель в надежде застать там пароход. По дороге

он встретил пациента. Последнему пришла мысль уехать вместе с братом, но сначала он предусмотрительно условился с братом, чтобы тот по прибытии в Марсель нашел удобный повод к отъезду и уведомил бы его, а он затем догонит его. По вызову брата пациент поехал в Марсель и узнал там, что брат ошибся, так как Марсель, как порт, неудобен для путешествия в Кап. После этого он работал в Женеве и в Англии; возвратился в 1876 году в Швейцарию, чтобы получить теоретическое образование в каком-нибудь техникуме. У него были широкие планы; хотя он мог рассчитывать лишь на получение небольшого состояния, он думал тем не менее о том, чтобы сделаться вскоре знаменитым, стать изобретателем и владеть собственной механической мастерской. Он «надеялся вскоре иметь необходимые для этого деньги». В последнем семестре он выставил чертеж в надежде приобрести этим всеобщую известность. Однако, его чертеж был встречен далеко не так, как он этого ожидал.

С тех пор он был уверен, что учителя смотрят на него косо, особенно после того, как он получил венок на одном стрелковом празднике, не вызвав этим ожидавшегося им восхищения. Теперь наступает пора мытарств. Он посещал еще школу, получил опять приглашение на ту же фабрику, где он раньше работал, но он считал себя слишком умным и образованным для того, чтобы работать по 11 часов в день для других; он предполагал, что фирма хочет его использовать, обратив себе на пользу его ум и изобретения. Он отправился в Англию, но чувствовал, что и там его преследует та же фирма, которая, между прочим, упрекала его в том, что он «вышел из пролетарского болота». С тех пор он стал разъезжать без отдыха по Америке и Англии, изредка посещая также и родину. Он находил, что повсюду на него клеветают и ставят препятствия на его пути. Очевидно, в большинстве случаев дело заключалось в бреде отношения; однако, он, видимо, слышал голоса. (При наблюдении и больнице вплоть до его смерти (1916) не было отмечено наличия галлюцинаций). В Америке он женился; но так как он бежал также и от своей жены, то последняя развелась с ним. В середине 1890-ых годов с ним был однажды припадок, который мог быть истолкован как легкая апоплексия (сифилис не обнаружен). В 1897 году он поступил на службу в Цюрихе. Несмотря на то, что его работами были довольны — ему были поручены самостоятельные конструкции — ему казалось, что его преследует один из начальников; последний устроил заговор против него, так что он слышал брань по своему адресу не только в ресторанах, но и перед окнами своей квартиры. Пациент отказался от службы, не нашел себе сейчас же другой службы и все больше и больше подвергался преследованиям. Он стал предаваться также пьянству (вопреки своим прежним привычкам) и, наконец, в состоянии, промежуточном между белой горячкой и алкогольным бредом, он в отчаянии застрелил

из засады своего преследователя. С тех пор он находился в Бурггельцли. Он считал себя отличным техником, который сделал бы много изобретений, если бы ему дали соответствующую обстановку. Он изобрел особую, вошедшую в употребление машину для выделки всевозможных зубчатых колес, но он стоит выше этого. Уже много лет тому назад он боролся против того, что его считали государственным человеком, законодателем или основателем религии, голоса или намеки, которые относились к нему, дразнили его этим; однако, они были правы, так как до катастрофы он составил проект создания свободной страны, не содержащий в себе ничего бессмысленного, но страдавший недостатками, которые встречаются обычно даже в самых лучших проектах, направленных к созданию всеобщего счастья.

В больнице его бредовая система не получила дальнейшего развития; только иногда он жаловался, что его обвиняют в уранизме. Он подавал беспрестанно заявления о выписке на том основании, что его искусственно довели с помощью преследований до убийства начальника, а после этого поступка к нему вернулась рассудительность. Наряду с этим он изучал испанский и русский языки, чтобы иметь возможность получить место на далекой чужбине тотчас же после своего освобождения. Он один почти полностью обслуживал типографию больницы, но ему нужно было постоянно напоминать о работе.

Его последующая установка к своему преступлению соответствовала по существу параноической установке: начальник постоянно преследовал и раздражал его; никто не хотел верить ему в этом; поэтому ему не оставалось ничего другого, как самому приобрести себе покой. Однако, впоследствии выявилась другая установка, которая была более благоприятна для его домогательств о выписке: начальник привел его, будь то с помощью одного лишь раздражения или каким-нибудь другим путем, в такое состояние, в котором он не отдавал себе отчета в своих действиях; таким образом, тот был сам виноват в своей смерти, в то время как пациенту это деяние не могло быть вменено в вину. Я тоже несколько не сомневался в том, что пациент по своей трусости и недостатку энергии не был бы способен к совершению убийства без галлюцинаторного возбуждения. Обе эти установки к преступлению менялись впоследствии смотря по надобности.

Однажды во время прогулки он бежал, но не получил, вопреки своим надеждам, денег от своего родственника и, наконец, добровольно вернулся из Франции в Бурггельцли. У него не было энергии перебиваться без документов. Когда у него — несколько преждевременно — наступили легкие старческие изменения (может быть, вследствие протекавшего без симптомов мозгового

очага), у него начали проявляться более отчетливо исполнения желаний. Они сказывались не только в том, что он старался еще извлечь пользу из своих изобретений, из своего проекта преобразования мира, но и в том, что у него возникали обманы памяти — вроде того, что один его умерший родственник, действительно относившийся к нему хорошо, завещал ему свой дом, что административные лица, обычно обещавшие прислать ему постановление о выписке его из больницы, на самом деле разрешили ему выписаться и т. д.

Помимо бредовых идей и реакций на них не было отмечено ничего, что могло бы быть истолковано как симптом душевного заболевания.

В этом случае мы не можем проследить развития паранойи. Тем не менее легко обнаружить корни бредовых идей. Пациент был способным человеком; его интеллект подавал самые лучшие надежды. У него самого были широкие планы. В полном противоречии с этим находился его характер, который отличался недостатком энергии и, наряду с этим, чрезмерной чувствительностью. Так, мы видим, что он, будучи молодым человеком, решил переселиться в Кап, как только он узнал, что его брат направляется туда, но он отказался от этого намерения, как только на его пути возникли небольшие затруднения; мы видим, как быстро он разочаровался, когда выставленный им чертеж не произвел того впечатления, какого он ожидал; в больнице ему нужно было напоминать о работе, а когда он вышел на свободу, то у него не хватило сил самому пробиться в жизни. Так обстоит дело вплоть до выстрела, произведенного им в состоянии скоропреходящей алкогольной спутанности; его реакция на преследования выражалась постоянно лишь в трусливом бегстве. Поэтому, само собой разумеется, что он не мог сделаться тем, кем он надеялся быть. Так как он был чувствительным, то он очень легко находил основания чувствовать себя обиженным другими людьми и считать их виновниками своих неудач; и так как пропасть между желанием и осуществлением его не могла быть заполнена, то эта идея получала постоянно свое подтверждение — и пациент пришел к заболеванию паранойей.

Случай 4. Следующий случай из моей практики я привожу в описании Г. В. Майора.

А. Г., женщина, родилась в 1848 году. О наследственном отягощении сведений не имеется. Пациентка была очень интеллигентной особой и получила прекрасное образование. Она хотела работать научно, но не могла этого достичь, «потому что заболели ее родители», за которыми она ухаживала до самой их смерти. С 1866 года по 1882 год она жила в полном довольстве в отцовском доме и поддерживала оживленное

общение с учеными. 36 лет от роду она переехала к своему овдовевшему брату, чтобы вести домашнее хозяйство, но платила ему за свое содержание, чтобы сохранить свою независимость. Домашняя работа нравилась ей, но два года спустя она должна была уступить место второй жене своего брата. Это событие, а именно — вынужденное извне оставление хотя бы отчасти родного дома должно было сильно подействовать на нее. Вскоре она опрометчиво обручилась — с той лишь целью, чтобы иметь свой домашний очаг; еще до свадьбы она заметила, что не подходит своему жениху, но окружающие убедили ее не нарушать данного слова. Спустя некоторое время после брака выяснилась невозможность совместной жизни, и это причинило пациентке глубокие и продолжительные страдания. Супруги разошлись, и вскоре у пациентки возникло множество бредовых идей отношения, которые особенно затрагивали давно прошедшие времена. Она вообразила, будто из прежней переписки следует прийти к заключению, что в свое время ей был сделан целый ряд предложений вступить в брак, но последние, однако, отвергались за ее спиной ее родителями, решившими отдать ее в монастырь. Ее последующий брак был делом рук ее врагов, которые знали, что она будет несчастна, но нарочно толкнули ее на это дело. Ее намеренно связали с человеком, стоявшим в социальном отношении ниже ее, с той целью, чтобы ее семья утратила, таким образом, всеобщее уважение и особенно — чтобы ее брат был унижен. В 1893 году брак был расторгнут вследствие душевной болезни пациентки; она написала оскорбительное письмо профессору П., который участвовал в деле в качестве судебного эксперта; впоследствии она восстановила это обстоятельство в своей памяти в таком виде, что профессор П. дал второе заключение, в котором он опроверг свое первоначальное мнение и признал ее здоровой, но высказался за расторжение брака, потому что в противном случае она могла нервно заболеть. Одновременно с этим архиепископу Х. было представлено расследование, согласно которому ее брак был признан недействительным. Она хотела непременно выйти замуж вторично; в это время она встретила с очень скромным мужчиной из ее круга, причем третьи лица делали такие намеки, на основании которых она была убеждена, что он добивается ее руки. Тогда она заметила, что католическая церковь интригует против этого. Благодаря своему воспитанию она несколько эмансипировалась от догматов и склонялась к католицизму, не признающему непогрешимости папы; в это время одно духовное лицо неожиданно сказала ей, что в случае непризнания ею догмата непогрешимости папы против нее будут действовать. Много лет спустя она заметила, что уже в то время про нее начали распространять клевету. Когда она приходила в гости, хозяева говорили, например: «У нас в доме только вода, нет ни вина, ни пива»; этим хотели сказать, что она — пьяница. Даже ее собственные братья

позволили себе клеветать на нее; один из них занял даже высокий пост благодаря тому, что он принес в жертву честь пациентки; она узнала об этом впоследствии из рассказов третьих лиц. В 1895 году было возбуждено ходатайство об учреждении опеки над пациенткой, которая из боязни быть интернированной бежала за границу. Там она отправилась к одному психиатру, потребовала выдачи ей свидетельства, что она душевно здорова, и передала ему для ориентировки письма одного гражданина, жившего в Мюнхене. Узнав, что у этого психиатра были знакомые в Мюнхене и что его сын был судьей, она заподозрила, что против нее может быть составлен новый заговор, и стала опасаться, что ее выдадут братьям, которых она теперь глубоко ненавидела. Наконец, она отправилась в Россию к родственникам, но и здесь она предположила, что в скором времени они будут настроены против нее. В Голландии и Бельгии она обратила внимание на то, что незнакомые люди уже знали о ее деле и делали своеобразные намеки; «я это больше чувствовала, чем ясно видела». Наконец, она уехала в Америку, где поступила на должность гувернантки. Едва она успела отправить несколько писем в Европу, как и там начались преследования; по видимому, ее письма и деньги похищались. Так как она убедилась в том, что, не имея специального образования, она не сможет получить лучшего места, она решила начать заниматься в высшем учебном заведении. Она весьма энергично и умно привела этот план в исполнение, учась в разных университетах, несмотря на то, что и там на нее клеветали и чинили ей препятствия; например, когда она однажды вывихнула ногу, окружающие говорили, что, по всей вероятности, какие-то причины сексуального характера заставляют ее лежать. Ее спросили также обвиняком, не больна ли она сифилисом. Уже в Америке она выпустила первое издание брошюры, направленной против германских судов; теперь она выпустила второе издание этой брошюры, которая наполнена ее бредовыми идеями. Когда весной 1908 года она поссорилась с домовладелицей из-за разбитого стекла, то она вообразила, что ей угрожает опасность быть интернированной вследствие этого в психиатрическую больницу; она бежала оттуда и закончила свое образование в другом университете в удивительно короткий срок *magna cum laude*. Имея ученую степень доктора, она не могла нигде найти места, так как ей казалось, что она повсюду слышит намеки на то, что ее поместят в психиатрическую больницу в Германии, если она не уедет. Один германский посланник за границей был к ее услугам для приведения в порядок ее бумаг; тотчас же люди заговорили, что она метит выйти за него замуж. В конце концов, она решила какой угодно ценой обвенчаться с каким-нибудь иностранцем, чтобы выйти из германского подданства. Она приставала самым бесстыдным образом к разным лицам и требовала, чтобы они женились на ней для вышеуказанной цели. В Голландии она обратилась с таким же предложением к одному

высокопоставленному и женатому лицу, считая, что он может развестись со своей женой; вследствие этого она была доставлена этапным порядком на границу. По возвращении на родину она была интернирована в психиатрическую больницу. Заметив находившееся рядом отделение для венерически больных проституток, она решила, будто ей дадут понять, что она принадлежит к их числу. Девять месяцев спустя она бежала из больницы через окно, которое случайно осталось открытым. По истечении короткого времени она была разыскана и водворена в другую психиатрическую больницу, из которой ей удалось спустя семь месяцев бежать и скрыться за границу. Здесь она пустила в ход все, чтобы добиться снятия с нее опеки; при этом она была снова подвергнута исследованию. В течение следующего года ей удалось переменить свое подданство, несмотря на всевозможные формальные препятствия. Время от времени можно было читать составленные ею газетные статьи о разных исторических событиях, в которых играют роль тайные заговоры.

Мы видим в данном случае женщину с высоко развитым интеллектом, которой удалось уже в летах успешно закончить академическое образование. В связи с неблагоприятными жизненными условиями, составлявшими резкий контраст с ее стремлением к совершенствованию, имевшим резкую аффективную окраску, возникают сначала идеи ущерба, а затем идеи преследования, переплетающиеся с фантазиями, в которых заключается осуществление ее желаний и которые для нее равноценны реальности. После того, как пациентка до 35-летнего возраста ухаживала за родителями и вела хозяйство брата, она заболела, когда неожиданно осталась одна, и вступила в несчастный брак из стремления к собственному очагу. Брак подействовал на нее довольно травмирующе. Против нее должен был быть составлен заговор, так как в противном случае она несомненно вступила бы в лучший брак. Это же самое преследование было причиной того, что она не смогла вторично выйти замуж более счастливо. Ее сексуальные желания находили свое выражение в подозрениях; процесс об учреждении опеки возбуждает ее еще больше. Успешно законченное образование не приносит ей пользы, так как повсюду она видит преследователей. Таким образом, она должна превратиться в кверулянтку, жизнь которой заполнена тяжбами, конфликтами и защитой от врагов.

У этой пациентки интеллект развит довольно высоко, но эффективность берет верх по своей силе. После того, как больная оказалась выброшенной из спокойной семейной обстановки, эротические комплексы получают чрезмерную аффективную окраску. Желания проявляются отчасти непосредственно, отчасти в негативной форме в виде преследований. У больной не было обманов чувств, а равно и

других признаков, которые свидетельствовали бы о шизофреническом заболевании. Несмотря на высокое развитие интеллекта, у пациентки в пределах ее бредовой системы господствует неясность представлений и сочетания отношений — неясность, которую мы часто встречаем при паранойе. По этой неясности можно было очень легко определить, что именно в подробном жизнеописании, сделанном пациенткой, относилось к бредовой системе и что было реальным.

Случай 5. Редактор. Родился в 1857 году. Семья считается здоровой. Будучи гимназистом и студентом отличался некоторым легкомыслием. На 25 году он потерял слух вследствие заболевания уха. Несмотря на хорошие доходы он не делал сбережений, так как был, в противоположность остальным членам семьи, щедрым.

Всегда был несколько упрям. В тридцатилетнем возрасте он рассорился со своей сестрой, у которой он жил, а вскоре затем и со своими товарищами по газете. Он надеялся создать себе независимое положение и отправился в Рим, где, однако, перебивался с трудом. Поэтому он строил всевозможные планы относительно дел, в которых он ничего не понимал, которые терпели поэтому крах и создавали для него лишь денежные затруднения. Он досадовал на то, что в свое время отказался от отцовского наследства на том основании, что он израсходовал свою долю в студенческие годы. Сначала он сделал еще оговорку, в силу которой он сохранял за собой право на небольшую часть наследства в случае инвалидности; впоследствии же он отказался от наследства безоговорочно, подобно одному из своих братьев. Он очень хотел бы заполучить назад акт об отказе от наследства, но это не удалось ему ни с помощью угроз в адрес отца, ни с помощью обычных в этих случаях обещаний покончить жизнь самоубийством. Когда же он узнал, что отец составил завещание, в котором он учел его отказ от своей доли, но в то же время оставил ему 2000 франков вследствие его глухоты (1905), пациент поехал домой и сделал попытку с помощью угроз заставить отца изменить завещание, так что отец вынужден был звать людей на помощь. Во время этой ссоры он похитил у отца бумаги. Тогда был заключен формальный договор, по которому шурина принимал на себя обязательство выплатить пациенту в течение 18 месяцев 6000 франков, взамен чего пациент отказывался от всяких притязаний на наследство, включая также и 2000 франков, и обещал вернуть похищенные бумаги. Однако, он отослал только часть последних и потребовал единовременной уплаты ему всей суммы, несмотря на полученные два крупных платежа. После этого он стал угрожать всем родственникам, бранился и требовал все большую и большую сумму, утверждая, без всякого основания, будто шурина отказался от исполнения договора, в то время как он сам нарушил последний. Несмотря на все это, он

получил деньги взаймы под залог долговой расписки шурина (которая была уже недействительна по его вине). Затем он обратился в суд, называя завещание покушением на мошенничество, но так как он ничего не доказал, то его жалоба осталась без последствий. Он угрожал сестре отнять у нее «с помощью самого заядлого адвоката» все, что он ей раньше подарил. Он не принял предложения шурина уплачивать ему по 500 франков ежегодно сверх 6000 франков, считая это предложение доказательством низости шурина, так как последний знал, во-первых, что пациент ничего не принял бы от него из жалости к детям шурина (!), а, во-вторых, шуринов вовсе не имел ввиду выплачивать ему по 500 франков. Одного из своих братьев он обвинял в вымогательстве. В 1906 году умер отец больного. Тогда пациент потребовал составления судебной описи имущества, но в этом ходатайстве ему было отказано, потому что он не был больше наследником. Затем он подал множество жалоб на своих братьев, обвиняя их в лжесвидетельстве, обмане, вымогательстве, клевете и т. п. Он обдавал грязью в двух издававшихся вне его кантона газетах судебные учреждения своей родины, так что последние были вынуждены привлечь его к ответственности; своим адвокатам он отказывал в уплате гонорара, ссылаясь на то, что их труд представлял собой только макулатуру и что он не приглашал их для защиты своих интересов (последнее — заведомая ложь). В конце концов, пришлось возбудить ходатайство об учреждении над ним опеки, повлекшее за собой большую переписку, а затем и экспертизу. Пациент чинил судебным инстанциям всевозможные препятствия, оттягивал дела, подавал кассационные жалобы, не являлся на разбирательство, бранил всех, кто высказывался не в его пользу или же выносил не такие приговоры, как ему хотелось; все, что говорило против него, было ложным показанием или подложным документом, доказательства же в его пользу должен был добывать сам суд или же его утверждения были «очевидны сами по себе». Он заявлял отводы судьям и экспертам, обвиняя их в пристрастном отношении; однажды он переехал в другой кантон, чтобы изменить подсудность.

Когда он сам тормозил судопроизводство, он жаловался на волокиту. Наиболее краткое изложение его процессуальных действий занимает 29 страниц *in folio*. Во время исследования он вел себя вполне нормально и не проявлял никаких странностей в вопросах, не касавшихся его судебных дел. В отношении же последних он был невменяем. Он приводил крайне бессмысленные утверждения. Все то, что ему не подходило, он считал ложью и подлогом, но первая пришедшая ему в голову мысль, если она могла быть истолкована в его пользу, была, по его мнению, правильна. Он мог утверждать, что тот или иной свидетель сообщил ему определенные сведения, несмотря на то, что этот свидетель был непричастен к делу и оспаривал

утверждение пациента; он продолжал утверждать это даже и после того, как показания свидетеля были запротоколированы и протокол был приложен к делу. Иногда он пытался подыскать нечто в роде доказательства для второстепенных обстоятельств, в остальном же он ограничивался одними лишь утверждениями. Иногда же он создавал *circulus vitiosus*. Например: его шурин получил долю в наследстве; доказательство: он устроил скандал. Доказательство того, что он устроил скандал: он получил долю в наследстве. Конечно, бессмысленность таких утверждений маскировалась большим набором слов. Многочасовая дискуссия не могла убедить его в том, что такие голословные утверждения не могут служить доказательством. Преступление, совершенное его братьями, было для него аксиомой, из которой он исходил; он никак не мог осмыслить, как это другие требуют от него доказательств. Он требовал много раз, чтобы суд сам представил доказательства его утверждений, и так как суд этого не делал, то он ставил его на одну доску со своими врагами. Он ссылается на несуществующие законы. Для того, чтобы аннулировать неправильное завещание, суд не должен требовать доказательств, он «должен оценивать, взвешивать, рассуждать». Завещание гнусно и потому недействительно. Когда он хочет обосновать какую-нибудь жалобу, он может сказать: правовая сторона дела меня не касается. Он исходит всегда из того положения, что преступление доказано: «Если они не признают обстановку уголовной, то у них не будет ключа к пониманию целого». «С тем, кто думает об этом иначе, я незнаком». «Тратить хоть одно слово, чтобы говорить а низости родственников, излишне; это должно иметь значение для суда».

Яснее всего проявляются дефекты его мышления при математических операциях, касающихся его бреда. Я задал ему следующую задачу: шесть членов семьи должны разделить наследство в 51000 франков; трое получают лишь законную долю; сколько получает каждый? Он совершенно неспособен был произвести расчет абстрактно; ему нужно было знать, как зовут тех, которые получают законную долю; он учитывал свои собственные требования, смешивал законную долю с целым наследством и, наконец, видоизменил эти понятия таким образом, что на его долю пришлась большая сумма. Я старался в течение многих дней заставить этого академически образованного человека решить указанную задачу письменно и устно, о чем имеется протокол на 20 страницах *in folio*. Мои усилия, оказались бесплодными. Мне не удалось ни разу довести его до признания, что он сделал ошибку, когда в одном расчете у него получилась законная часть в 5555 фр., а в другом — в 6666 фр. Точно также он не признал ошибочности своего расчета, когда общая сумма денег, которую должны были получить все члены семьи, почти вдвое превысила подлежащую разделу сумму или когда он вычислил свою долю в сумме свыше 30000 фр., в то время как доли двух других членов семьи не

достигали даже 20000 франков.

После того, как все средства были им исчерпаны, и он должен был опасаться водворения в психиатрическую больницу, пациент прекратил, наконец, борьбу, но не отказался от своего бреда. Мне приходилось впоследствии часто видеть некоторые его газетные статьи, в которых речь шла всегда о каких-нибудь выдающихся исторических лицах.

Академически образованный человек, обладавший высоко развитым самосознанием, хотел бы иметь определенную власть, а именно; играть руководящую роль в своей семье; однако, он имел возможность осуществить это стремление лишь с помощью расточительности, которая соответствовала и без того неэкономному образу его жизни. Благодаря хорошим доходам такое положение длилось в течение долгого времени. Зато он при таком образе жизни не скопил ничего. Так как он не выносил никаких указаний со стороны, он вынужден был оставить свою хорошую службу и впал в денежные затруднения. Ему казалось слишком недостаточным занять аналогичное, хотя, может быть, и несколько менее оплачиваемое место; он стремился заработать больше, занявшись делами, неудачное ведение которых указывало ему на его неспособность опять выбиться наверх и еще больше увеличило его нужду. Затем он пришел к сознанию, что его тугоухость служит большим препятствием к исканию новых источников дохода. Он вычислил, что ему нужно, по меньшей мере, от 20000 до 30000 франков, чтобы обеспечить себя от нужды. Так как он сам не мог заработать их, то его мысль обратилась прежде всего к наследству; но, за отсутствием дядюшки из Америки, он мог думать только об отцовском наследстве, от которого он некогда отказался из хороших нравственных побуждений. Теперь он раскаивался в этом; он желал, чтобы этот отказ не существовал в его прошлом, и достиг этого в своих бредовых идеях, причем сильно преувеличил наследство, приходящееся на долю одного ребенка.

Дикая борьба, которую он вел за свое мнимое имущество и право, обнаружила вместе с тем и его властолюбие; ясно было, что он хотел не только получить свои деньги, но и дать почувствовать противникам свою силу. Его противниками были не только члены семьи, но и без исключения все те, которые имели отношение к его делу и выступали против него или не в его пользу. Противоположность между его мышлением в пределах бредовой системы и вне ее особенно бросается в данном случае в глаза, так как даже простейшие математические представления оказывались несостоятельными, если они не соответствовали его желаниям. Оснований для диагноза шизофрении не было констатировано.

Случай 6. Механик, родился в 1859 году. Отец покончил жизнь самоубийством. Брат был меланхоликом. Пациент хорошо учился, но уже в школе обращал на себя внимание некоторыми странностями. Он всегда живо реагировал на окружающее, проявлял повышенный интерес к политике, стремился стать выше своего положения, читал много книг, но без всяких результатов для себя. Его первая жена умерла, вторая пила и изменяла ему, в 1911 году он с ней развелся. В приговоре было сказано, что он сам сознался в том, что он «жестокый человек». Это его рассердило, так как он сказал, что он «грубиян», а это совсем другое; грубым может быть каждый, когда он раздражен. С таким приговором на руках он не может больше вступить в брак. Он подал апелляцию, но ему было отказано, так как он выиграл процесс, а обоснование приговора не может быть обжаловано. Тогда он захотел восстановить «свои права письменным и устным путем»; он осаждал все инстанции, как имевшие, так и не имевшие никакого отношения к его делу и обвинял суд в подлоге документов. Он наделал долгов, которых община не захотела сейчас же заплатить, вследствие чего он подал жалобу на общину. Он подал цюрихским властям заявление, обвиняя Ааргауэрские власти в беззаконии. В конце концов он посылал общине в течение одного дня три жалобы и три угрожающих письма. Он вел судебные процессы против своих адвокатов. Он переехал в Германию, где работал на фабрике снарядов. Но и там у него было много недоразумений; затем он заболел катарактой и был, наконец, уволен. По этому поводу он апеллировал, конечно, во все инстанции, считая неправильным применение к нему тех или иных законов.

Между прочим, он обвинил швейцарского консула в нерадении по службе и т. п. Он выразил недовольство по поводу диагноза, поставленного местным районным врачом, признавшим наличие идей ущерба и бреда сутяжничества, и был направлен в Бурггельцли для повторного обследования (1916).

Здесь у него, наряду с легким артериосклерозом и тугоухостью, был констатирован ясно выраженный маниакальный темперамент, который не переходил, однако, в состояние душевной болезни. Несмотря на свое хвастовство он был добродушен; он вел себя безупречно и вскоре начал прилежно работать в открытом отделении. На его жену при разводе была возложена обязанность вносить пациенту определенную сумму на воспитание детей; он отказался от этих взносов на том основании, что она не в состоянии их платить; но в этом направлении он никогда не обнаруживал своих кверулянтских тенденций.

За его сутяжничеством была скрыта бредовая система, которая формировалась весьма постепенно; он знал обо всем уже давно; он видел буквы и постепенно стал складывать их в слова.

Задолго до развода он провел на должность ревизора одного ненадежного работника вопреки желанию высокопоставленного и влиятельного чиновника. Но этот работник продвинулся впоследствии на более почетное место опять-таки вопреки желанию указанного чиновника, который сам был вскоре назначен членом союзного совета. Пациенту вменили в вину этот поступок и хотели лишить его прав. Член совета Н. и его клика восстановили против него суд, всех его работодателей, общину и частных лиц, вследствие чего с ним везде стали плохо обращаться. Когда однажды пациент был назначен на одну частную службу, то одновременно с этим ему предложили квартиру; впоследствии он узнал, что владелица квартиры была публичной женщиной; следовательно, его намеревались довести там до разврата с помощью соблазна. Когда он съезжал однажды с квартиры, домовладелец не хотел ему выдать мебели до уплаты им квартирной платы. При судебном разбирательстве мебель была ему возвращена, причем кто-то обронил фразу, что ему ничего не могли бы сделать, даже если бы он совсем не внес квартирной платы. Тогда он подумал: „Ага, за этим делом кроется член совета Н.“, который не хочет довести его до конфликта, так как он опасается, что дело может получить огласку. С тех пор пациент перестал платить за квартиру и отдавать свои долги, так как он был убежден, что все это будет улажено членом совета Н. Он даже делал долги ради опыта и предлагал взыскивать их с него судебным порядком; он был уверен, что продавец не останется в убытке, даже если он сам и не заплатит своего долга. И так как в действительности ни один кредитор не довел дела до суда, пациент убежден, что все его долги были заплачены. Он полагал, что община, которая в действительности расходовала на него много денег, не будет так глупа, чтобы платить за него долги. Она даже вернула ему деньги, внесенные им на содержание его детей. (Это имело свое основание: община хотела лишить его права вмешиваться в воспитание детей).

Когда он однажды, придравшись к чему-то, оставил свою службу, не уведомив об этом заранее работодателя, то последний задержал у себя его рукописи. Пациент обратился к общинным властям, которые нашли, однако, что дело не так спешно и что теперь рождественские праздники. Тогда он написал союзному совету, от которого, несмотря на праздники, был получен ответ, как общиной, так и им — простым рабочим (выражение, которое он любил употреблять). И это послужило для него доказательством, что его дело находится в руках члена совета Н. Много лет тому назад в пылу спора он вышел из состава своего политического кружка, после чего общинный полицейский чиновник предложил ему поступить в христианский кружок; теперь ему стало ясно, что это было предложено по предписанию будущего члена совета Н., чтобы

обезвредить пациента в политическом отношении. И так далее.

Половая жизнь была в этом случае хотя и не совсем нормальна, но понижена не в такой мере, как я это наблюдал в других случаях. Может быть, это обстоятельство находится в связи с его маниакальным состоянием. Однажды пациент застал свою жену с другим; он повалил обоих на пол и нанес им ранения; при этом из различных высказываний больного видно, что он бессознательно поставил суду в вину как приговор о разводе, которого он сам домогался, так и обоснование этого приговора. Не случайно же его сутяжничество исходило из той мысли, что с таким приговором на руках он не сможет больше вступить в брак, он — который давно убедился в том, что не сможет ни подыскать себе настоящую подругу жизни, ни вести правильный семейный образ жизни. Он посещал свою жену и после развода. А между тем в продолжение брака он не раз отсылал ее из дому и по целым годам жил вдали от нее, причем суд не установил, чтобы он нарушил супружескую верность. Во время исследования он точно также говорил довольно равнодушно о двух своих женах, и его рассказ о покушении на жизнь своей жены и ее любовника звучал как выходка маниакального больного, а не как настоящая ревность.

Механик с хорошо развитым интеллектом и несколько маниакальным темпераментом, стремившийся возвыситься, не добивается никаких успехов. Он имеет успех только как политический агитатор, да еще в одном не совсем чистом деле, в котором он должен был вступить в конфликт с чиновником, занимавшим высокое служебное положение. С одной стороны, это ему льстит, но вместе с тем это не безопасно для него, стремящегося занять высокое положение. К этому комплексу присоединяется приговор о разводе, который одновременно задевает его отрицательные качества, как супруга. Оба эти вопроса переплетаются друг с другом; образуется бредовая система, впитывающая в себя все неприятное, что случается с пациентом. Заменяв простодушное швейцарское выражение «грубиян» выражением «жестокий человек» суд действительно поступил не совсем справедливо, но если бы эта обида не упала на почву его комплекса разбитой служебной карьеры и семейной жизни, она не могла бы вырасти в эту бредовую систему. У пациента никогда не было галлюцинаций. Вскоре после его выписки он был подвергнут экспертизе в другом кантоне.

Случай 7. Переплетчик, женат, родился в 1869 году. Отец его вспыльчив, старшая сестра периодически страдала душевной болезнью, другая сестра — лгунья и воровка; его сводный единокровный брат был несколько раз осужден, умер в психиатрической больнице.

Сам он с детства был весьма ограничен и оставался на второй год в каждом классе начальной школы. Во время путешествий он часто страдал головными болями, по поводу которых однажды даже поступил в больницу. Всегда был несколько возбужден, вспыльчив, иногда даже бил свою жену, но вслед за этим просил прощения. Всегда был боязлив, скромен и застенчив.

С конца 80-х годов он состоял во внебрачном сожителстве с одной католичкой. Так как сам он был правоверным протестантом, то он решил обвенчаться с ней лишь в 1892 году, но впоследствии постоянно упрекал себя за это; он чувствовал себя виновным перед пастором, который венчал его и кирху которого он посещал каждое воскресенье, в том, что он не спросил его совета; он испытывал прямо-таки страх перед этим пастором. Два года спустя после свадьбы он прошел однажды мимо этого пастора, который держал, свою паству в строгом подчинении и прибегал с этой целью к религиозному внушению. Пациент узнал его только тогда, когда тот уже прошел мимо, но тем не менее он сделал еще попытку поклониться ему, после чего он решил, что пастор этого не заметил. Он был в отчаянии, что пастор примет это за обиду. Вскоре ему показалось, что его товарищи по работе, узнав о происшедшем, обращаются с ним не так, как прежде, и при случае посмеиваются над ним. Он думал также, что по этой же причине ему не повышают жалованья. Однако, в ближайшее время дело не пошло дальше того, что он выражал свое недовольство и несколько раз менял своих работодателей, но так, что это не особенно бросалось в глаза окружающим.

Только шестью годами позже, в 1900 году его состояние ухудшилось; поводом к этому было событие, аналогичное первому: он говорил с соседом по работе о своем намерении оставить службу; в это время вошел хозяин. Испугавшись, он опять забыл поклониться. Он начал бояться, что хозяин обиделся на него за это. Как ему показалось, ему давали теперь более трудную работу и чаще делали замечания. Его соседи по работе тоже заметили, что он уже больше не на таком хорошем счету, и начали придирааться к нему в мелочах. Он решил теперь не проявлять больше недостатка в должном уважении и стал из предосторожности кланяться даже незнакомым, полагая, что каждый обращает внимание на то, кланяется ли он или нет; наконец, он пришел к мысли, что прохожим дают знать по телефону о том, что он идет. В продолжение двух ближайших лет состояние его ухудшалось; он вообразил, что люди не замечают его поклонов, становился поэтому все назойливее и настойчивее, кланяясь одним и тем же лицам по нескольку раз, бегал за ними, чтобы повторить свой поклон. Он стал также кланяться своей жене; так, например, проснувшись, он каждое утро говорил ей: «Доброго утра, мадам Мейер», причем с

течением времени он повторял это приветствие все больше и больше раз.

Это стало ему самому казаться глупым, но так как он был убежден в том, что он должен кланяться, то он пришел к мысли, что бог возложил на него такую обязанность в наказание за его грехи, за онанизм, за вступление в брак без совета пастора и прежде всего за то, что он не оказывал должного уважения вышестоящим лицам. Однако, все причины, кроме последней, упоминались пациентом редко и имели для него второстепенное значение. Он не мог больше думать ни о чем другом, кроме как о своей обязанности кланяться; он вынужден был забросить работу и сидел по целым часам на диване, думая о своем несчастье. Он стал еще раздражительнее по отношению к своей жене и даже швырял в нее иногда разными предметами. Так как он начал высказывать мысли о самоубийстве, то его доставили в Бурггельцли 8 ноября 1903 года. Здесь он проявил себя запуганным, чрезмерно застенчивым и лишенным энергии человеком. Он часто плакал. Когда однажды у него были две поллюции, одна вслед за другой, он был очень угнетен; еще до поступления в больницу он безрезультатно лечился от сперматореи. Кроме своих поклонов он постоянно в чем-нибудь извинялся; он просил прощения также и за те ошибки, которые он, наверно, сделал, но с которых он не знал. Он защищал даже тех больных, которые, будучи раздражены его беспрестанными поклонами и рукопожатиями, давали ему пощечины, так как он считал все страдания заслуженными наказаниями от бога. Он считал, что было бы высокомерием, если бы он сказал, что он изучал переплетное ремесло и был переплетчиком. Однажды он потребовал, чтобы ему объяснили раз навсегда, как и в каких случаях он должен поступать, тогда он непременно сделает то, чего от него потребуют. Однако, для него было невозможно прекратить свои поклоны — несмотря на то, что он десятки раз обещал оставить их совсем. Он все-таки продолжал думать, что бог и мы требуем от него этого. Если он видел где-нибудь четыре пуговицы сразу, ему казалось, что это значит, что он должен теперь кланяться каждому по четыре раза. Однажды он подумал, что достаточно будет кланяться одним разом меньше, чем ему было указано; впоследствии он в течение нескольких дней чувствовал себя несчастным, потому что он ослушался бога.

Поместить его в открытое отделение было очень трудно в виду того, что он и в больнице высказывал мысли о самоубийстве. Часто приходилось подвергать его усиленному наблюдению совместно с другими больными, причем он тогда был занят исключительно тем, что кланялся одному больному за другим; поэтому оказывалось совершенно невозможным оградить его от ударов больных. Если же его помещали в отдельную комнату, он прилежно работал, шил и вполне добросовестно снимал копии с

несложных бумаг.

Он часто думал, будучи на улице, что кругом говорят: «Вот он теперь». Помимо этого у него не было обнаружено никаких следов галлюцинаций или иллюзий. Аффекты были всегда адекватны одержанию мыслей и качественно не выходили за пределы нормы. Точно также в течение целого ряда лет не было найдено следов задержек, выпадения мыслей, стереотипии или других признаков dementia praecox, которые я, разумеется, тщательно отыскивал. Его бредовая система, несмотря на бессмысленность ее предпосылки, была построена вполне логично и последовательно. Он сам сознавал бессмысленность поклонов, но так как другие люди этого хотели, то он и покорился такой участи.

Кроме того в больнице у него были отмечены элементы бреда отношения и вне его главной идеи. Например, когда уходил со службы какой-нибудь санитар, пациент думал, что это из-за него. Он слышал, как кто-то сказал: «Ну вот, опять». Это было намеком на его высокомерие. Когда нечистоплотных больных перекладывали на сухую постель, он чувствовал, что это как-то касается и его.

Однако, он научился постепенно брать себя в руки; он мог быть отпущен домой в виде опыта, а затем 6 апреля 1904 года он был окончательно выписан. Дома началась вскоре старая история; он сделался своей жене в тягость, потому что беспрестанно кланялся покупателям, заходившим в ее лавку, и этим отбивал у них охоту делать покупки. С 13 декабря 1904 года до 14 мая 1905 года он опять находился в больнице. Затем он был кое-как выписан.

4 июля 1908 года пациент был доставлен в третий раз в больницу, из которой он больше не выписывался. Еще в течение ряда лет он был «особым» случаем. В конце концов, он стал, однако, слышать бранящие голоса, подымая по этому поводу большой шум и проявляя разные странности во время своей перепл"тной работы.

Несколько имбецильный, весьма застенчивый, покорный и вместе с тем глубоко религиозный человек с аффективной установкой, слегка направленной в сторону депрессии, но не выходящей за пределы нормы, женится на женщине иного вероисповедания, к которой его влечет физическая любовь. Он испытывает по этому поводу угрызения совести в течение нескольких лет, но не может расстаться со своей женой. Представителем небесного гнева является сильная личность — пастор, который венчал пациента и с которым последний сохранил связь. До своего вступления в брак он чувствовал настоящую потребность спросить у этого человека совета, но

не посмел явиться к нему с таким вопросом. Случилось так, что он прошел мимо этого пастора, не поклонившись ему, Его долго угнетает, словно грех, что с ним могло произойти нечто подобное. По видимому, будущий пациент решил уже тогда остерегаться, чтобы в будущем с ним не повторился такой случай; должно быть, он пришел к заключению, что лучше кланяться больше, чем меньше. Как он этого ни остерегался, но несколько лет спустя с ним случается то же самое, и на этот раз на карту ставится уже не небесное, а земное благополучие: он говорит о своем намерении переменить место и забывает поклониться своему хозяину, от которого он еще зависит и который может ему повредить выдачей плохой рекомендации. Характерно для слабости пациента то обстоятельство, что он не оставляет места, а переносит придирки и позволяет хозяину и товарищам по работе, как он думает, издеваться над собой. Вследствие этого он ставит себя в такие условия, что его боязливый аффект постоянно получает новую пищу, что он не может от него освободиться и что однажды образовавшиеся бредовые идеи имеют время зафиксироваться: больной становится неизлечимым.

В предыдущем издании мы при дифференциальном диагнозе этого случая возражали против шизофрении и допускали лишь некоторую вероятность паранойи. Теперь же мы скорее склоняемся к предположению, что здесь имел место шизофренический процесс. Но и в настоящее время нельзя с уверенностью признать наличие в данном случае шизофренического процесса, так как пациент дебилен, а весьма вероятно, что олигофрены, заболевающие паранойей, могут иметь слуховые галлюцинации и без шизофренического процесса. Во всяком случае есть много олигофренов-параноиков, которые слышат голоса и у которых никогда не бывает специфических шизофренических симптомов. Точно также у олигофренов могут возникать и без привходящей шизофрении стереотипии вроде поклонов, которые, впрочем, исчезли уже много лет тому назад.

Несмотря на шаткость диагноза, я привожу этот пример еще и теперь, так как он подходит для иллюстрации бредовых механизмов, общих как для паранойи, так и для параноидного больного.

Глава о паранойе в первом издании имела целью показать, что бредовая система возникает при известном предрасположении путем кататимного действия аффектов. В настоящее время в этом нет больше надобности, так как признание психогенетического понимания бредовых систем вызывает еще споры разве только в отдельных деталях, в основных же положениях и в целом оно принято. Крепелин в 8-ом издании (1915) своего учебника на стр. 172 описывает паранойю как

«вытекающее из внутренних причин, незаметно подкрадывающееся развитие стойкой, непоколебимой бредовой системы, которая протекает при полной сохранности сознания и упорядоченности мышления, хотения и действия». Однако, «внутренние причины» представляют собой лишь часть условий, необходимых для возникновения параной; и у Крепелина на эти «внутренние причины» наслаиваются психические механизмы. Я ссылаюсь также на труд Ганса В. Майера (*Über katathyme Wahnbildung und Paranoia*. Springer, Berlin, 1912) и на анализ «сенситивного бреда отношения», проведенный Кречмером, который разработал его несравненно шире, глубже и тоньше, чем это мог бы сделать я. Хотя его исследование касается таких случаев, которые я по большей части (если не исключительно) отнес бы к шизофреническому кругу, но так как самое формирование бреда принципиально обуславливается действием одних и тех же сил и механизмов, что и при паранойе, то указанная работа оказывается ценной и для понимания рассматриваемых нами вопросов.

Для того, чтобы развернуть во всю ширь вопрос о паранойе, понадобилась бы отдельная монография, а для окончательного ответа на этот вопрос не наступило еще время, несмотря на значительные успехи, достигнутые в этом направлении.

Поэтому я хотел бы лишь указать вкратце, как я представляю себе связь между бредовой системой и эффективностью; с этой целью я привел (кроме прежних) еще три истории болезни, которые иллюстрируют мою точку зрения.

Под паранойей я понимаю только описанную Крепелином под этим названием группу болезней с характерной для нее незыблемой бредовой системой без значительных нарушений мышления или аффективной жизни, а, следовательно, без слабоумия и без галлюцинаций, придающих картине болезни особую окраску, причем (подобно тому, как это раньше делал Крепелин) я включаю туда соответствующие этим условиям сутяжные формы.

Вопреки мнению Шпехта, пытавшегося свести паранойю к смешению депрессивного и маниакального аффекта при маниакально-депрессивном психозе, я утверждал тогда, что недоверие, на которое он указывал, как на связующее звено между первичным нарушением аффекта и бредовой системой, не является аффектом, что оно не представляет собой смешения удовольствия и неудовольствия и что паранойя не может быть отнесена к этой группе ни на основании специальных формирующих бред механизмов, ни на основании скрывающейся за ней причины болезни, ни на основании течения аффективных психозов. Теперь к этому следует прибавить, что и наследственность противоречит взгляду Шпехта. (Ср., например,

Kehrer und Kretschmer. «Veranlagung zu Geistesstörungen». Berlin, Springer 1924.)

Я должен был также отбросить теории Берце (Das Primärsymptom der Paranoia. Halle, Marhold 1903) и Ланге, которые усматривали причину бреда в восприятиях, равно как и те теории, которые допускают какое-либо первичное изменение воспоминаний (Вернике) или предполагают гипертрофию Я.

Так как литература последних лет рассматривает теорию образования бреда почти исключительно с точек зрения, изложенных в настоящей работе, я считаю излишней всякую дискуссию о вышеприведенных взглядах, хотя последние еще окончательно не опровергнуты и в частности «аффект недоверия» приводится в отдельных работах, как основание для возникновения параноидного бреда. Однако, накопленный до настоящего времени опыт не дал мне никаких опорных пунктов для изменения изложенных в первом издании взглядов. Напротив того, я мог бы привести теперь в их пользу еще больше доказательств.

Психологическое исследование генезиса бреда при бредовых заболеваниях (паранойе и параноидном слабоумии, включая и парафрению) установило вполне определенно, что мышление подвергается болезненному влиянию аффективно насыщенных комплексов представлений, содержащих в себе какой-либо внутренний конфликт. Будущий параноик обладает честолюбием, он хочет стать выдающимся человеком или сделать какое-нибудь замечательное открытие. Но он неспособен достичь своей цели; причиной этого я считал до сих пор только недостаток энергии. Его самосознание не позволяет ему сознаться в своей собственной слабости и отказаться от своих честолюбивых планов, так как такое унижение было бы для него слишком болезненно. Ассоциация: «У меня слишком дряблый характер» становится невозможной вследствие этого аффекта неудовольствия; с тем большей силой прокладывается путь для других ассоциаций, которые дают возможность замаскировать это окрашенное неудовольствием представление или говорят, что оно ложно. В зависимости от темперамента и некоторых других более второстепенных констелляций параноик прибегает для этой цели к различным психическим механизмам. Важнейшими из них, которыми инстинктивно пользуется также и здоровый человек, являются: тенденция находить вину своих неудач вне самого себя, в обстоятельствах и особенно в других людях (бред преследования) — и затем тенденция представлять себе желания исполненными (бред величия).

Если ассоциация представления о собственной малоценности становится невозможной, то в этом случае мыслимы два механизма: представление подавляется, как функция, уже при

самом возникновении его или же оно хотя и образуется, но не ассоциируется с сознательной личностью, «отгораживается от сознания». Насколько мне известно, нет таких наблюдений, которые доказали бы непосредственно наличие при паранойе одного или другого из указанных механизмов; но изучение неврозов и вся психопатология неврозов и шизофрении доказывают, что только отгороженные, вытесненные, но не подавленные функции могут обладать такой большой силой, следствием которой являются бредовые идеи, хотя оба механизма, естественно, являются выражением одной и той же основной функции и переходят один в другой. Если ассоциация о собственной слабости не возникает вовсе, то у человека неизбежно создается убеждение в своей большой работоспособности; тогда могут возникнуть патологические формы, как относительное слабоумие); при эйфории, сопряженной с отсутствием критики, возникают безудержные идеи величия (маниакальная форма прогрессивного паралича), но не психические образования, которые (подобно бреду параноика) могут длиться в течение всей жизни вопреки ненарушенной в остальном логике и вопреки всей очевидности восприятия. Этот перевес аффектов над логикой заставляет нас предположить, что у параноиков аффективность должна обладать слишком большой выключающей силой в сравнении с прочностью логических ассоциаций. В обычных случаях решающее значение имеет повышенная выключающая сила аффективности, так как у более чем значительного большинства параноиков вне бреда не констатируется слабость ассоциаций, а всегда лишь отмечается сила аффективности. При способности логических функций к сопротивлению аффективным влияниям речь идет не об «интеллекте», не о «разуме» в общепринятом смысле, т. е. не о числе ассоциаций, которыми пользуется индивид при мышлении, а о формальной прочности ассоциативных связей, добытых опытом. Этим опровергается то возражение Ланге, для которого я дал повод неточной формулировкой, а именно, что не всегда «должно быть налицо какое-либо несоответствие между разумом и эффективностью», так как бывают параноики и с очень высоко развитым интеллектом. Слабость связи между ассоциациями является во всяком случае слабостью интеллектуальных функций, но не интеллекта. Интеллект у параноиков развит в общем выше среднего, как это склонен допустить и Ланге; ведь функция интеллекта в том и заключается, чтобы почувствовать конфликт, вытеснить его и создать вместо него сложную бредовую систему, оправдывающую параноика перед самим собой и другими людьми. Аналогичное заболевание у олигофренов принимает несколько иные формы, вследствие чего мы не относим его к паранойе в понимании Крепелина.

Ясперс (цит. по Ланге) отмечает, что мы хорошо «понимаем» бредообразование по его содержанию, но не понимаем главного,

почему в данном случае возникает стойкий бред, а в другом случае вносится коррекция. Я полагаю, что понимание этого главного момента вытекает из устойчивости аффективной окраски и продолжающегося существования конфликта. Затем мне кажется все же слишком рискованным утверждать, что у многих людей происходят одинаковые конфликты и что они обладают одинаковой аффективной конституцией, но что они тем не менее не становятся параноиками. Кто решится определить в сложной психической ткани как раз те нити, которые имеют значение при образовании бреда. Тот, кто тщательно наблюдает за здоровыми и неизбежно устанавливает при этом, как часто они создают на таких же самых основаниях, что и параноики, ложные и временно не поддающиеся коррекции представления, которые сами по себе никак не могут быть отграничены от бредовой идеи, тот не может вместе с Ясперсом требовать «особого механизма», который обуславливал бы переход в паранойю. За это же говорят и скоропреходящие бредовые идеи, которые нередко могут быть восстановлены анамнестически из предварительной стадии паранойи.

Хотя мы не можем установить, как общее правило, пониженного сопротивления логических ассоциаций, тем не менее у каждого параноика должна существовать, по меньшей мере, некоторая склонность к отщеплениям, а, следовательно, и к менее прочным связям, чем у нормального человека, иначе он не мог бы обнаружить столь ясно выраженную и столь одностороннюю кататимную реакцию. В предрасположении параноиков должно быть нечто резко шизоидное, причем следует ясно подчеркнуть, что под этим отнюдь необязательно подразумевать что-либо болезненное, что-либо шизофреническое. Патогенным становится лишь взаимодействие устойчивой эффективности, обладающей выключающей силой, и этой шизоидии. Кроме того, шизоидия сказывается также и в том, что параноидные психопаты и ближайшие родственники параноиков до сих пор не могут быть отделены от шизоидного и шизофренического круга наследственности. (Вопрос о том, встречается ли среди родственников параноиков большее число шизофреников, чем среди прочего населения, представляется еще спорным. По Гоффманну, Экономо и др. до сих пор так полагали; однако, Ланге не может подтвердить этого на основании своего обширного материала. Если бы его вывод подтвердился, то следовало бы отличать аномальные проявления, которые мы встречаем среди родственников параноиков, от параноидных проявлений, которые мы видим в семьях стольких шизофреников.)

Аффективность параноиков должна не только обладать выключающей силой, но и отличаться устойчивостью. Если бы она была лабильной, как у истериков, то у индивида возникла бы

истерия или нечто аналогичное ей; во всяком случае аффективно неустойчивый индивид не может создать и надолго сохранить стойкую бредовую систему. Но более важное значение для неизлечимости бреда имеет специальная причина последнего: она заключается обычно в ощущении неустрашимой трудности, которое опять-таки не было бы столь длительным, если бы аффективность не была устойчивой.

Я имел возможность до сих пор исследовать более подробно только параноиков, ищущих защиты, преследуемых, ревнивых и кверулянтов. У каждого из них я обнаруживал наличие конфликта между стремлением и волевой энергией. Возникновению бреда преследования способствует при этом еще целый ряд побочных обстоятельств. Так, например, крушение собственных планов обуславливает, естественно, чувство ревности по отношению к *beati possidentes*, а ревность составляет и у нормального человека одно из могущественнейших средств, с помощью которого прокладывают себе путь разного рода представления о злонамеренности тех, кто является предметом зависти. Мощностъ выключающей силы и непрерывная длительность конфликта между тем, кем хотелось стать индивиду, и тем, что он представляет собой теперь, — препятствуют выявлению опровергающих доводов. Таким образом, бред преследования уже налицо. Когда он становится в противоречие с действительностью, то больной инстинктивно находит этому новое объяснение, причем одни ассоциации опять-таки подвергаются торможению, другие же прокладывают себе путь; таким образом бред расширяется. Он расширяется еще и потому, что при длительном существовании конфликта бред постоянно занимает пациента сознательно или бессознательно, вследствие чего новые переживания легко приходят в ассоциативную связь с ним. Даже все совершенно безразличные ассоциации вроде того, что школьники бегут за вагоном трамвая, в котором сидит пациент, или что прохожий именно в данную минуту сморкается, приводятся пациентом немедленно или по прошествии некоторого инкубационного периода в логическую связь с бредовой системой, и так как противоположные мысли выключены, то они не только оцениваются как возможность, но учитываются как действительность. Точно также и воспоминания становятся подвластны комплексу (равно как и у всякого здорового человека, но только количественно больше), под влиянием которого факты получают новое толкование или же возникает иллюзорная связь между элементами воспоминаний.

На основании этого извращенного материала мышления, иллюзий памяти и ложного применения всего происходящего к собственной личности, даже правильная логическая операция должна привести к неправильным результатам. Но так как мышление в остальном нормально, то бредовые построения

сохраняют видимость логичности и приводятся к понятным связям: параноический бред «систематизируется». Вследствие той же самой причины и вследствие того, что существует один только конфликт, все бредовые идеи связываются с этим комплексом и остаются логически «сконцентрированными» в отличие от большинства бессвязных шизофренических бредовых идей.

Если конфликт касается отношения к супругу, то возникает бред ревности, за которым постоянно скрывается неосознанная самим больным половая слабость или чувство сексуальной вины (фактически имевшая место или же только желаемая собственная неверность или нечто аналогичное). Для шизофреника, между прочим, достаточно одного лишь желания отделаться от супруга.

Кроме того, мой опыт говорит за то, что все параноики страдают особым видом половой слабости. Желание иметь детей, так резко бросающееся в глаза при шизофрении, отсутствует у этих больных; точно также и в остальном они проявляют пониженное половое влечение. Наша канцелярская помощница (1) хотя и думает иногда о жизненной опоре, но никогда не мечтала о браке в эротическом смысле; податной чиновник (2) хотя и путался с женщинами (как это обычно бывает), когда он находился в дурном обществе за границей, но как только он освободился от внушения окружающей среды, он уделял этому мало внимания или вовсе отказался от этого; он не вступил также в брак. Техник (3) более или менее „забывал» свою жену; филологичка (4) вскоре разошлась с мужем и по собственному признанию не искала в браке полового общения; писатель (5) был холостяком; у механика (6) было две жены, но он по большей части жил отдельно от них; переплетчик (7) с его привязанностью к жене страдал не чистой паранойей, а, по всей вероятности, шизофренией.

Тем не менее случаи параноически-эротического бреда встречаются нередко. Но в нем содержится в большинстве случаев осуществление не сексуальных желаний в собственном смысле, а стремление к величию, к повышению общественного положения — аналогично тому, как в детских сказках целью должен быть принц или принцесса (случай 4).

Бред преследования, бред ревности, а часто также и эротический бред проистекают из конфликтного комплекса и могут, следовательно, возникать не только при средней, но и при легкой аномальности установки темперамента. Голотимные же конституциональные отклонения от нормы в смысле настроения приносят особое направление ассоциаций и придают свою окраску картине болезни.

Уже наша первая пациентка обнаруживает признаки легкой депрессии. Это сказывается в том, что она по временам переоценивает трудности, существующие в действительности, и что она склонна делать себе упреки, когда, например, она не в состоянии примирить враждующие стороны во время домашних раздоров. Точно также во втором и седьмом случаях угрызения совести проистекают из легкого депрессивного предрасположения. Но если темперамент резко эйфоричен, то перевес получают приятные ассоциации; конфликт устраняется таким путем, что желания осуществляются в бредовых построениях и возникает бред величия. Люди с повышенным в сторону мании самочувствием и с проистекающей отсюда легкой обидчивостью, связанной со стремлением к деятельности, легко становятся кверулянтами. Какую роль играет у последних внутренний конфликт, я не знаю; но я не могу себе представить, чтобы его не было; тем не менее Крепелин хотел теперь отделить кверулянтов от прочих параноиков на том основании, что у них на первом плане стоит внешний конфликт.

Депрессия, производившая при первом поступлении в больницу впечатление меланхолии, должна быть скорее рассматриваема, как психогенная реакция со стороны всегда несколько меланхолически настроенной больной па ситуацию, которая была тяжелой не только с ее точки зрения. Все наблюдавшиеся у нее аффективные колебания относились к психогенным реакциям, а не к эндогенным формам.

Ланге тоже склонен отделить кверулянтов от параноиков; они не так больны; психическая травма играет большую роль. Не все их ошибочные утверждения основаны па заблуждении или бреде, — они во многом лгут сознательно. Хотя последнее может быть связано с объектом их комплекса, но ведь согласно нашему судопроизводству обвиняемым и адвокатам дано право лгать, и вообще искушение ко лжи несравненно сильнее во время судебного разбирательства, чем при реакции на какой-либо бред преследования. Напротив, правильно говорить, что предрасположение к параноическому сутяжничеству, вероятно должно быть менее тяжелым, чем при других формах паранойи, и что некоторые кверулянты, как, например, травматик не заболели бы без тяжелого переживания; однако, это весьма относительное различие, которое не может, на мой взгляд, оправдывать разграничение этих форм. Теоретически и психопатологически обе эти болезни идентичны, а практически они имеют одно и то же значение, одно и то же течение, один и тот же прогноз.

Однако, тот факт, что более или менее маниакальный темперамент сопутствует параноическому сутяжничеству, вытекает не только из того, что такой темперамент весьма соответствует обоим предварительным условиям (повышенному

и в то же время ранимому чувству собственного достоинства, а также и значительной активности), но и из наблюдений над такими пациентами и из того факта, что и маниакально-депрессивные больные легко становятся кверулянтами во время субманиакальных приступов, если они обладают вместе с тем и резким шизоидным компонентом, а, следовательно, и большой выключающей силой эффективности. Шизоидный компонент, существующий в последнем случае наряду с гипоманией, является не только теоретической предпосылкой; он может быть легко установлен у таких лиц и у членов их семей, так что при устаревших взглядах относительно резкого отграничения шизофрении от маниакально-депрессивного психоза диагноз в таких случаях представлялся бы сомнительным.

Весьма вероятно, что предрасположение к маниакальному или депрессивному настроению не только окрашивает картину болезни, но при некоторых обстоятельствах является также необходимым побочным условием для развития бреда. Субманиакальное состояние придает маниакально-депрессивным сутяжникам самосознание, обидчивость и действительную силу, которые необходимы для реагирования на обиду в духе сутяжничества. (В случае переплетчика (7) не останется он одного бредового элемента, если мы отбросим чувство малоценности, свойственное этой депрессии). Точно также и у канцелярской помощницы (1) большая часть бреда не могла бы образоваться в данной форме без депрессивной конституции. Маниакальное, равно как и депрессивное расстройство настроения может усилить уже существующий конфликт до болезнетворной причины, хотя оно и не является обязательным условием для конфликта.

Однако, поскольку речь идет о паранойе вообще, а не о ее специальных видах, темперамент не имеет для нас значения; он может быть совершенно различным. Но если некоторые авторы утверждают, что все параноики обладают гипоманиакальным темпераментом, то этому прямо противоречат 1 и 2 случаи, в которых отмечается склонность к депрессии в форме длительного расстройства настроения и в форме психогенных реакций.

Напротив того, предпосылкой для бреда величия всегда является некоторая эйфория, связанная с переоценкой собственного Я и с слишком высокими целями. Впрочем, я еще никогда не имел случая точно проследить возникновение чистого бреда величия у параноиков. Конечно, он должен заключать в себе осуществление желаний, подобно другим формам бреда величия. Переходные ступени к здоровому состоянию заметны особенно отчетливо у изобретателей и у лиц, делающих научные открытия. В таких случаях даже специалисту не легко сказать, что истинно и что ложно. Однако, тот факт, что

настоящий бред может возникнуть, укрепиться и распространиться также и у высоко интеллигентных людей, хотя и с некоторым сомнением и эйфорией, но без маниакальных элементов, этот факт требует особого объяснения, которое, вероятно, и в данном случае следует искать в каком-либо оскорблении самолюбия. Ведь при обычных психологических соотношениях даже самые жгучие желания не приводят к бредовым идеям, а в остальном у параноиков не констатируется заметного ослабления логической силы мышления. В смешанных случаях, как у нашего техника-машиниста, мы видим, что бред величия и бред преследования формируются наряду друг с другом. Его желания осуществляются отчасти непосредственно в планах переустройства мира и в двух изобретениях, из которых одно — задуманное в зрелом возрасте оказалось применимым, хотя и не имело того успеха, какого ожидал от него пациент; другое же, сделанное после апоплексии, при начальных сенильных изменениях, заключало правильную идею, но не могло быть осуществлено, причем пациент был не в состоянии заметить ошибки. С нарастанием сенильных явлений стали проявляться более грубые погрешности против реальности, когда пациент полагал, что ему завещаны дома и обещана выписка, (Он не внёс корректив в свои идеи преследования и не отказался от них; следовательно, и в данном случае не было трансформации бреда).

Точно также и к выраженному бреду величия легко присоединяются единичные идеи преследования; это присоединение происходит всегда с помощью вышеуказанного механизма, так как пациент, мыслящий в остальном логически, должен искать другой причины своей неудачи, не будучи в состоянии признать свою собственную несостоятельность и неправильность своих открытий.

У одного очень уважаемого архитектора существовали, по имеющимся у меня наблюдениям, бред преследования и бред величия независимо друг от друга. Он построил задолго до Цеппелина воздушный корабль, которым можно было управлять; при блестящей диалектике пациента я лишь с большим трудом мог найти в его построениях ошибку, которая во всяком случае была весьма существенной; однако, наряду с этим больной изживал чувство своей сексуальной малоценности с помощью яркого бреда ревности и отравления по отношению к своей жене и ее мнимым любовникам.

Кроме того, существуют промежуточные формы также и в том отношении, что кататимный синдром, хотя и фиксируется, но не втягивает в свой круг новых переживаний, как это имеет место при параноическом бреде. Отличной иллюстрацией сказанного может послужить следующий пример.

Один высокопоставленный государственный деятель сохранил верность своему монарху при бывших в Наполеоновское время переворотах, тогда как все его сослуживцы забыли о своей присяге и перешли на сторону нового светила. За это он был посажен в тюрьму. После реставрации он был «забыт» или, вернее говоря, его слабохарактерные сослуживцы должны были стыдиться его и препятствовали поэтому пересмотру приговора по его делу. Лишь около 25 лет спустя его семье удалось добиться его освобождения. Обычно он казался нормальным человеком. Однако, вопиющая несправедливость, разбившая его жизнь, не прошла для него бесследно. Время от времени с ним случались припадки бешенства, которые могли быть купированы только тем, что все присутствовавшие члены семьи собирались как можно скорее и на коленях просили у него прощения; но за что они просили прощения — этого ему нельзя было говорить.

Я наблюдал 50 лет тому назад один случай «невроза ожидания» аналогичного происхождения.

Санитарка, родилась в 1848 году. К другим тяжелым переживаниям присоединился в 1872 году брак с алкоголиком, ревнивым, грубым бездельником, который обращался с ней очень плохо. В 1876 году она получила известие о том, что ее сестра, которая развелась со своим мужем, забеременела, сделала себе аборт и находится при смерти. В то время, когда ее сестра не была еще замужем, пациентка под влиянием угроз вынуждена была иметь половое сношение с будущим мужем сестры, состоявшим опекуном пациентки; при получении этого известия ее ужаснула мысль, что она косвенным образом тоже виновна в смерти своей сестры. Она не осмелилась пойти к сестре одна и взяла с собой брата. На обратном пути от сестры она встретила со своим мужем, который по своему обыкновению начал терзать ее своей ревностью. В отделении больницы во время работы она „не знала, что творится с ее головой». Одной из своих сослуживиц она сказала: „Если я заболела, скажи, что в этом виноват мой муж». Ночью у нее возник потрясающий озноб при температуре в 39.6С: однако, не позже чем через два дня ее трактовали просто как нервнобольную. С тех пор она представляет типичную картину травматического невроза с ужасными болями во всем теле, с длящейся годами полной нетрудоспособностью и с некоторыми ремиссиями при соответствующем психическом лечении.

К этой картине присоединяются некоторые идеи преследования со стороны врачей и санитарок, которые будто бы не помогали ей и обращали мало внимания на ее страдания; однако, некоторое время спустя такие идеи большей частью корригировались. (Многие врачи действительно обращались с ней как с ленивым, лишенным энергии человеком; конечно, результатом такого отношения каждый раз было ухудшение ее

состояния).

Лишь к семидесяти годам, когда вследствие начавшихся сенильных изменений ослабела ее аффективная жизнь, наступило заметное улучшение ее психического состояния, но полного выздоровления все же не наступило. К сожалению, появились обусловленные физическим состоянием осложнения. После освобождения комплексов пациентка сама осознала генезис своей болезни в таком виде, в каком мы изложили его в первом издании; ненавистный муж должен быть виновен в ее болезни; но болезнь может быть поставлена в вину ее мужу лишь при том условии, если бы она была очень тяжелой и испортила ей жизнь навсегда. Она находилась приблизительно в настроении ребенка, которому отец, несмотря на все его просьбы, не купил перчаток и который упрямо сказал ему тогда: „Тебе назло я отморожу себе руки». Но, очевидно, это не все. Желание свалить вину на мужа имело еще более важную причину, чем ненависть к нему; пациентка чувствовала себя виновной в несчастье, повлекшем за собой смерть ее сестры. Так как она была высоко нравственным человеком (ее половое сношение с шурином было вынуждено последним с помощью угроз покончить с собой, которые вызвали у пациентки тяжелый нравственный конфликт), то это ее сильно мучило. Тогда она бессознательно прибегла к тенденции свалить вину на мужа. Если она чувствовала себя несчастной, то в этом была уже не ее вина, а вина ее мужа; обвиняя другого человека, она вытесняла сознание собственной вины; такие сваливание вины является средством для облегчения своей совести, как я мог установить это сотни раз при служебных упущениях низшего персонала и как это замечал часто, вероятно, каждый человек.

При настоящей паранойе было бы интересно исследовать связь между ее специальными формами и первоначальным предрасположением. Впервые попытался разрешить эту проблему Ланге. Однако, он не может еще установить корреляции между типом болезни и отмеченными им конституциональными свойствами. Это говорит лишь о том, что он не отметил тех свойств, которые оказывают патопластическое влияние. Несомненно (как это иллюстрируют даже немногочисленные приведенные нами случаи), что темперамент придает картине болезни особую окраску. У первого из приведенных им типов легко понятно, что больной создает себе только осуществление желания без бреда преследования; своим чувством собственного достоинства он стоит выше насмешек и издевательств (во всяком случае, для его характеристики не подходят выражения «боязливый», «робкий»). Напротив, почему не возникает бред преследования в другом случае, противоположном этому — нельзя усмотреть из приведенной там характеристики: еще меньше можно понять, почему не приведены веские основания, в сс^ которых больной не мог

почувствовать противоречия между бредом и действительностью; о нем следовало бы знать гораздо больше, чтобы иметь возможность сказать, что он в каком-либо отношении по своей структуре похож на первый случай и все-таки создал совершенно иную бредовую систему.

Тесная взаимосвязь бреда с конституцией может быть доказана тем, что в первом случае, приведенном у Ланге, можно с таким же успехом сказать: он не чувствует себя преследуемым; следовательно, он стоит выше насмешек и издевательств, аналогично тому, как раньше мы объясняли, наоборот, бред, исходя из конституции. Во всяком случае привычное настроение, составляющее существенную составную часть конституции, может понятным образом оказывать влияние на направление бреда.

Так как при паранойе не бывает слабоумия, то при ней не бывает и «трансформации» бреда преследования в бред величия. Для того, чтобы создать бред преследования, необходимо обладать известным критическим отношением к реальности. Без ощущения (чтобы не сказать: сознания) противоречия между желанием и возможностью не может возникнуть бред преследования. Однако, когда с прогрессированием шизофрении прекращается критика, то пациент может удовлетворять в своих бредовых идеях самые безумные желания, и из шизофренического бреда преследования возникает бессмысленный бред величия. Трансформация бреда таким путем, какой предполагался раньше (когда больной должен был решить, что он представляет собой нечто выдающееся, если так много людей прилагают столько усилий, чтобы преследовать его) — соответствует логике здоровых людей, а не кататимным, формирующим бред механизмам.

Относительно притупления нравственности при паранойе ср.
примечание к случаю 1.

Однако, отсутствие такого «слабоумия» при паранойе не может еще служить дифференциальным признаком для отграничения ее от шизофрении, потому что развитие шизофренического процесса может приостановиться в любой стадии, а, следовательно, и тогда, когда слабоумие еще незаметно. Кроме того, некоторое шизоидное предрасположение является необходимым предварительным условием для возникновения обеих болезней. Будущие параноики проявляют такие же странности, как и многие будущие шизофреники и их родственники; изучение наследственности (до появления работы Ланге) как будто прочно установило взаимное сродство обоих кругов наследственности; более легкие случаи из шизофренического круга могут стать параноическими. Но что именно следует подразумевать под более «легкими случаями» в

настоящее время не может быть еще определено. Прежде всего следует думать о неорганических формах, т. е. о таких формах, при которых не наступил (или не может быть установлен) шизофренический процесс (анатомически или же химически или же тем и другим путем вместе в каком-либо из четырех возможных причинных сочетаний). В связи с этим следует отметить, что параноики не часто бывают диспластичны и что «признаки вырождения» встречаются у них гораздо реже, чем у шизофреников.

Тогда можно себе представить, почему дело доходит только до психогенного развития бреда, а не до специфических шизофренических симптомов. Тем не менее провести разграничение и теоретически не легко. Ведь шизофренический процесс может быть выражен так слабо, что его нельзя точно установить ни анатомически, ни клинически; ведь в незаметных переходах от здорового состояния через шизопатию к выраженной шизофрении вообще не существует никаких границ. Если некоторые авторы утверждают, что для перехода шизоидии в шизофрению должен присоединиться какой-то новый фактор, который можно было бы даже трактовать как особый ген физического шизофренического процесса, то я должен возразить, что наши знания далеко еще не дают права на такое утверждение. Простое усиление шизоидии, которой во всяком случае свойственны в такой же мере гормональные функции, как и синтонии, может вызвать мозговой процесс. Многие до сих пор еще ослеплены простотой объяснения Менделя и упускают при этом из виду, что мы до сих пор ни в чем еще не нашли ни малейшей точки опоры для резкого отграничения шизоидии или шизопатии, с одной стороны, и шизофрении — с другой, но зато мы наблюдали ясно выраженную непрерывность перехода от полного здоровья к самой тяжелой форме шизофрении. В таком сложном вопросе не легко объяснить этот факт различными суммами многих однородных генов. (Ср. также аналогию перехода какого либо нормального, резко усиленного качества в болезненный симптом с феноменологическим переходом пикнической конституции в ожирение).

В общем симптоматически шизофрения и паранойя представляются выросшими из одного корня (шизопатии), к которому при шизофрении присоединяется еще физический процесс, при паранойе же — как следствие комбинации с определенным характером — присоединяется лишь психогенное возникновение бреда.

Однако, и эта трактовка встречает на своем пути одно препятствие. Кан предполагает, что многие настоящие параноики прошли раньше шизофренический процесс, оставивший после себя небольшой дефект, который служит исходным пунктом для паранойи. Кан, несомненно, прав.

Возникновение бреда при шизофрении и паранойе происходит при посредстве одних и тех же механизмов, поскольку маниакальные и меланхолические передвижения аффектов и хронические или, в особенности, острые физические процессы не приносят чего-либо специфического при шизофрении. Шизофренический процесс вызывает слабость ассоциативных связей, в силу которой даже мало повышенная эффективность может оказывать болезнетворное влияние на ассоциации. Таким образом, легкий шизофренический процесс, не вызывающий еще стойких специфических симптомов, не вызывающий особых логических расстройств, является отличным фундаментом для будущей паранойи (см. в дальнейшем).

Согласно нашему представлению, само собой понятно, что существуют излечимые случаи паранойи. Если эффективность человека, предрасположение которого во всем идентично предрасположению параноика, лишена значительной устойчивости, то он хотя и может создать бредовую систему, но не в состоянии сохранить ее. То обстоятельство, что мы не наблюдали случаев, в которых наступало бы улучшение — пока Фридманн и Гаупп не обратили на это внимания — зависит от того, что они попадают к психиатру, который не имеет возможности наблюдать начала даже неизлечимой паранойи, лишь в виде исключения. Пока родственники решат прибегнуть к врачебной помощи — лабильный, склонный к созданию параноидных образований больной успевает уже изменить свои комплексы, а также свою аффективность, а вместе с тем и излечить свои бредовые идеи для того, чтобы, спустя некоторое время, связать, может быть, новые бредовые идеи с другими переживаниями. Поучительны также случаи эпилепсии, когда больные сохраняют, и в нормальные периоды, идеи преследования, возникшие во время раздраженного состояния, но корректируют их при первом же эйфорическом настроении. При других параноидных конституциях, при которых дело вообще не доходит до настоящего заболевания, быстрая смена эффективности может даже воспрепятствовать образованию бредовой системы, или же отклонения от нормы не настолько сильны, чтобы сделать надолго невозможным логическую корректуру возникающих нарушений мышления. Крепелин пытается найти предрасположение к паранойе в известной остановке духовного развития на детской ступени. Я отношусь с недоверием ко всем попыткам свести патологические явления к инфантильным. Карлик — не дитя; и особенно в данном случае такому взгляду противоречит то обстоятельство, что как раз дети никогда не создают бредовых систем. Детской эффективности, в противоположность эффективности взрослых, свойственна ясно выраженная лабильность, а не более или менее повышенная устойчивость, необходимая для развития паранойи. Однако, легко понять, что все аномалии, которые являются дефектами, могут быть обозначены и как задержки

развития.

4. ПОНЯТИЕ О ПАРАНОЙЕ

**Аффективность, внушение,
паранойя**
Э Блейлер

Итак, существенным в понятии о паранойе является возникновение устойчивой бредовой системы из определенного вышеуказанного кататимного механизма при неизменной в остальном психике. Этот механизм приводится в действие конфликтом, который как будто касается внешних обстоятельств, но в действительности получает свою остроту вследствие внутренних затруднений, в большинстве случаев или всегда в форме чувства малоценности, в котором нельзя себе признаться и с которым нельзя примириться.

Создание бреда с помощью аффективной выключающей силы, оказывающей резкое и длительное воздействие на отдельные комплексы, возможно при весьма разнообразных в остальном предрасположениях. Так как такое предрасположение может быть также создано легким шизофреническим процессом, то между шизофренией и паранойей существует двойная связь — во-первых, потому что наследственность при этих заболеваниях до известной степени одинакова, а, во вторых, и потому что определенная легкая степень шизофрении благоприятствует возникновению параноического состояния. Нередко встречаются острые заболевания, которые производят сначала впечатление паранойи, а некоторое время спустя оказываются шизофренией. Все-таки случаи такой перемены диагноза не так многочисленны, чтобы мы имели право приписывать большую часть случаев паранойи шизофреническому процессу. И наоборот: даже при подробном анамнезе мы лишь в редких случаях находим в предшествующей жизни несомненного параноика моменты, возбуждающие подозрение относительно предшествовавшего шизофренического процесса. Но генезис бреда одинаков в обоих случаях, и шизофрения не всегда заходит так далеко, чтобы специфические для нее симптомы стали очевидны; следовательно, можно предположить, что понятие о шизофрении, как о психозе, в основе которого лежит анатомический процесс, пересекается с понятием о паранойе, так как некоторые, хотя и весьма частые случаи в которых мы в течение продолжительного

времени находим только картину паранойи, могут все же быть основаны на шизофреническом процессе.

В таких случаях, как наш случай канцелярской помощницы (1) или описанный Гауппом случай Вагнера или случай Руссо, нельзя отделаться от сомнения, не скрывается ли за ними нечто шизофреническое.

Вестертерп стремится в одной важной работе провести различие

между доступными для нашего «вчувствования» случаями паранойи с бредом величия, бредом ревности, религиозным бредом, параноическим сутяжничеством, с одной стороны, и *paranoia persecutoria*, с другой. Последняя соответствует, по его мнению, психическому процессу и занимает среднее место между первой формой и шизофренией.

При шизофрении развитие бреда непонятно и недоступно для «вчувствования» здорового человека; в данном случае нет переходных ступеней к здоровой психике; первые проявления качественно совершенно отличны от проявлений при выраженной болезни. Для пациента прежде всего важен факт преследования, а вопросом о том, почему его преследуют, он интересуется мало или вовсе не интересуется. Формирование бреда вытекает не из характера, а из первичных патологических феноменов. Болезнь наступает в определенное время без понятной связи с каким-нибудь значительным событием.

Прекрасные наблюдения, описанные в работе Вестертерпа, равно как и обсуждение их, могут во многом способствовать выяснению вопроса: паранойя — шизофрения. Но и они не разрешают его окончательно.

Мое первое возражение заключается в том, что описанные Вестертерпом случаи *paranoia persecutoria* вовсе не подходят под понятие паранойи, описанное Крепелином и принятое многими авторами, в том числе и мною. Один из его пациентов не работает с момента наступления болезни (в течение 4 лет), не хочет никого видеть, не выходит на улицу, испытывает страх у себя в комнате, предъявил к своей жене бессмысленное требование уложить его в корзину и отнести на вокзал. Другому весь мир представляется измененным; когда он видел что-нибудь красное, например, книгу, она казалась ему объятая пламенем; все вещи имели в его глазах другой цвет; он испытывал чувство обморока, усталости, грусти. Третий глупеет, несмотря на хорошее предрасположение и лелеемые им высокие планы, и развивает слабоумные бредовые идеи и т. д. Одним словом, мы видим описание таких состояний, такого течения болезни, какое мы наблюдаем ежедневно отчасти при выраженной шизофрении, отчасти же при заболеваниях, которые были в прошлом несомненными шизофрениями или будут ими впоследствии. Почему мы не можем считать их случаями шизофрении, которые задержались несколько дольше, чем другие случаи, или прочно остановились на этой стадии развития? До тех пор, пока этот вопрос останется неразрешенным, всякое выделение каких бы то ни было параноидных форм будет висеть в воздухе. Это относится ко всем попыткам такого рода, в том числе и к попытке Клейста и к парафрении Крепелина, которая, впрочем, утратила теперь всякое право на существование благодаря катамнестическим

данным (две трети этих случаев развились согласно имеющимся до настоящего времени данным в ясно выраженную шизофрению, т. е. по меньшей мере столько же, сколько и при острых кататониях или при некоторых других неоспоримых шизофренических формах).

Но какое мы имеем основание для отграничения паранойи от шизофрении после того, как мы сами сводим некоторые формы с большей или меньшей вероятностью к шизофреническому процессу и предполагаем в остальных случаях шизоидное предрасположение? Прежде всего в подавляющем большинстве всех случаев, относимых Крепелиновской школой к паранойе, никогда не наступает слабоумия, и эти больные вообще не проявляют каких бы то ни было специфических шизофренических симптомов. Хотя это и не является безусловным доказательством, но оно с большой вероятностью говорит за то, что есть случаи, в которых дело доходит до такой бредовой системы без мозгового процесса. Работа Вестертерпа отлично показывает, что бредовые построения, доступные для нашего „вчувствования» и развивающиеся из характера больного, обычно протекают совсем иначе, чем шизофренические бредовые образования. Паранойя проявляется почти всегда лишь в зрелом возрасте, когда исчезают надежды на достижение поставленных себе в жизни целей или, как утверждает Гаупп, когда уменьшается приспособляемость, в то время как шизофренические процессы наступают в общем раньше, но этот факт не может, конечно, служить основанием для разграничения обеих болезней, так как именно параноидные формы шизофрении также имеют склонность наступать в более позднем возрасте. Гораздо важнее то обстоятельство, что параноики обнаруживают меньше диспластических признаков, чем шизофреники, если рассматривать оба эти заболевания как одно целое. (Среди шизофреников параноики обнаруживают меньше всего «дегенеративных признаков»). И если бы даже все вышесказанное было недостаточным нозологическим обоснованием для разграничения Крепелиновской паранойи от шизофрении, то мы должны были бы сделать это из практических соображений, так как паранойя требует во всех отношениях совершенно иного лечения. И мы практически можем провести такое разграничение, так как при более тщательном наблюдении мы можем с таким же успехом отличать паранойю от шизофренических форм, с каким мы клинически отличаем сифилис мозга от прогрессивного паралича. Единственное возражение, которое я мог бы привести против резкого отграничения паранойи от шизофрении, это указание на то обстоятельство, что у всех параноиков бывают, так сказать, периоды улучшения, причину которых мы не всегда можем найти в окружающей обстановке. Но разве нормальный человек не бывает различно настроен, не бывает более или

менее обидчив, не охватывает ли и его иногда хорошее или тяжелое предчувствие? Следует категорически подчеркнуть, что эти колебания не носят характера маниакально-депрессивного психоза, так что я не принимаю его здесь во внимание.

Вестертерп утверждает, что при бреде преследования всегда можно обнаружить какой-нибудь внезапный перелом в жизни больного, но наши случаи и многие другие показывают, что это необязательно и что дело обстоит таким образом в одних только описанных им (шизофренических) случаях. Кроме того, нужно быть осторожным при оценке какой либо действительной внезапной перемены. Подобно тому, как бывает много внезапных шизофренических или истерических «просветлений», бывает также и много нормальных просветлений. Стоит лишь вспомнить о том ученом, которому как бы сразу становится ясной трудная проблема, над которой он работал, или о тех жизненных конфликтах, с которыми многие нормальные люди разделяются иногда сразу и т. д.

Таким образом, ни относительно параноидных форм шизофрении, ни относительно паранойи неправильно утверждать, что не существует переходных состояний от бреда преследования к здоровой психике и что бред преследования либо ясно выражен, либо же вовсе отсутствует. Кто не переживал, между прочим, таких случаев, когда он задавал себе вопрос, следует ли уже оценивать данное состояние как бред преследования или еще нет? И в старой литературе встречается довольно много описаний такого рода, что больному становится сначала не по себе, а затем (часто лишь спустя несколько лет), постепенно возрастая, отчетливо выявляются идеи преследования.

Конечно, между бредом преследования и другими формами бреда есть разница: бред преследования всегда является вторичным. Бред величия является первично осуществлением желания; бред сутяжничества ищет удовлетворения определенного сознательного желания, аналогично некоторым формам бреда величия. Бред же преследования стремится (у параноика — всегда, а у шизофреника обычно) дать больному возможность скрыть от самого себя какой-либо конфликт. В реальной жизни больной не в состоянии достичь осуществления своих желаний, потому что он неспособен к этому по какой-либо причине. Однако, эта мысль для него невыносима, он вытесняет ее *in statu nascendi* и ищет мнимых препятствий во внешнем мире, как это случается иногда на короткое время и с здоровым человеком. Следовательно, самый принцип структуры бреда преследования таков, что генезис его не может быть осознан самим пациентом, потому что он не хочет его больше сознавать и потому что он не может его больше осознать, не разрушив своего чувства собственного достоинства вместе со своими

бредовыми построениями, которые он создал именно для спасения своего самочувствия.

Таким образом, бред преследования вырастает не из «спеси» и не из „самопереоценки», а, наоборот, из подавленного чувства малоценности, которое, разумеется, проистекает из потребности казаться себе и другим чем-то большим, чем можно быть в действительности. Поэтому меня не удовлетворяет также и выражение „чувство собственного достоинства» («Selbstgefuhl»), которым я вместе с Крепелином и др. пользуюсь в данном случае за отсутствием другого более подходящего термина. Это выражение имеет много значений, так что следовало бы прежде всего определить, что мы под ним подразумеваем, если это не становится случайно ясным по смыслу, как, например, при маниакальном чувстве собственного достоинства. Выражение „повышенное чувство собственного достоинства» является совсем неподходящим — например, в применении к нашей канцелярской помощнице и податному чиновнику. Ланге тоже пытается дополнить мою формулировку и заменить это выражение «стремлением к значимости» и часто именно в определенном направлении. Однако, и выражение „стремление к значимости» представляется мне не совсем правильным. Выражаясь точнее, речь идет о том, что человек хочет быть тем, кем он не может быть, и вытесняет этот конфликт. Здесь важно не то, как его ценят другие люди, а то, как он сам себя ценит. Стремление к значимости, рассчитанное на признание со стороны окружающих, не должно приводить к созданию бреда; как известно, оно может свободно проявляться в разного рода мелочах.

Прежде я считал неизлечимость паранойи препятствием к предположению о ее чисто психогенном происхождении. Но преходящая неизлечимость объясняется, как я теперь полагаю, подбором наших случаев, так как мы не включаем в наше рассмотрение излечимых случаев; в остальных же случаях неразрешимость внутреннего конфликта, т. е. длительность причины при устойчивой аффективности, говорит за то, что и болезнь должна продолжаться, аналогично тому как невроз, связанный с получением ренты, поддерживается „рентным комплексом».

Вообще понятие о болезни не есть нечто данное само по себе. Дискуссии о том, „представляется ли известный комплекс явлений болезнью», основаны по большей части на ложных или неясных предпосылках. Всякое представление о болезни относительно и представляется правильным лишь с определенной, более или менее произвольной или случайной точки зрения. Существует „один вид воспаления легких», понятие о котором до некоторой степени прочно обосновано. Однако, прежде существовало еще туберкулезное воспаление

легких, и теперь еще есть два различных инфекционных заболевания, заслуживающих названия „воспаления легких». Можно различать душевные заболевания по известным синдромам, как старую паранойю или бред преследования, но можно различать их и по процессам, как прогрессивный паралич или шизофрению.

Паранойя является прежде всего понятием о синдроме: неизлечимая болезнь с бредовой системой, построенной довольно логическим путем на основе болезненного применения к своей личности всего, что происходит в окружающей среде, и на основе обманов памяти — без наличия других болезненных симптомов.

Тщательное исследование показывает, что такому понятию соответствует и однородно с ним выявляющаяся конституция: аффективность, обладающая мощной выключающей силой, связанная с большими стремлениями и со слишком незначительной (по сравнению с последними) продуктивностью, которая не может удовлетворить ни внешним целям, ни оценке собственного Я. В остальных компонентах, в голотимной установке аффектов и в интеллекте, конституции могут быть весьма различны. Таким образом, и эта однородность конституции существует лишь с известной точки зрения.

Далее, параноики со свойственным им кататимным образованием бреда должны обладать таким компонентом предрасположения, которого мы в настоящее время не можем еще выделить из круга шизоидных форм.

По всей вероятности, в предрасположении к паранойе заключается, таким образом, определенный качественный, но по существу количественный оттенок шизопатии. Качественно этот оттенок не может быть еще точно охарактеризован; относительно же количества мы можем при настоящем уровне знаний предположить, что тяжелые формы шизоидии приводят к шизофрении; более же легкие формы шизоидии приводят в тех случаях, когда к ним присоединяется соответствующая аффективная конституция, к паранойе; еще более легкие формы дают шизоидных психопатов, а в небольшой мере «шизотимный компонент психики» свойствен и здоровым людям.

С этой более широкой точки зрения указанные случаи паранойи можно было бы объединить, как генетически однородные, с теми случаями, в которых закончившийся, ставший латентным шизофренический процесс сделал возможным образование бреда или благоприятствовал его возникновению.

В остальном, однако, эти случаи образуют особую подгруппу, так как в них имел место физический процесс, в то время как при

паранойе бредовая система развивается непосредственно из врожденной конституции. Психогенная же обусловленность бредовой системы имеется во всех случаях аналогично тому, как бредовые идеи величия маниакального паралика возникают из психических потребностей с помощью чисто психического механизма.

Однако, если кто-либо, исходя из наличия нового генетически связующего звена, из наличия процесса, захотел бы отделить эти формы от тех заболеваний, которые выросли исключительно из конституции и причислить их, например, к шизофрении, к кругу которой они относятся по своему процессу, то с этой точки зрения он был бы вполне прав. Во всех других отношениях, кроме симптоматической картины и практического значения, такое заболевание относится к шизофрении.

Но мы не делаем этого по следующим основаниям: симптомы, которые мы можем констатировать еще в этих случаях, не заключают в себе ничего такого, что представлялось бы в каком бы то ни было отношении характерным для шизофрении. За исключением анамнеза, в отдельных случаях нет опорных пунктов для диагностики заболевания, приводящего к слабоумию. Таким образом, мы должны предположить, что в некоторых случаях нет данных для суждения о шизофреническом происхождении болезни, даже если последнее имело место; следовательно, такие случаи независимо от нашего желания причисляются к психогенной паранойе. Однако, я полагаю, что для нашей классификации самое важное значение имеют практические соображения; конечно, правильно, что над шизофреником всегда висит Дамоклов меч нового шизофренического приступа или постепенно нарастающего слабоумия. Однако, опыт показывает, что такие случаи не настолько многочисленны, чтобы с ними нужно было считаться при всех обстоятельствах. Таким образом, все случаи паранойи в Крепелиновском смысле составляют в практическом отношении одно целое, и мы можем поэтому резюмировать: согласно нашему определению, что паранойя является понятием о болезни постольку, поскольку все случаи симптоматически одинаковы, поскольку во всех случаях возникают одинаковым путем одинаковые бредовые системы и поскольку они имеют одинаковое практическое значение. Если же определять это заболевание с других точек зрения, то оно не представляет собой одного целого, так как, например, часть случаев должна была бы быть отнесена к шизофрении.

5. РЕЗЮМЕ

Аффективность, внушение, паранойя

Э Блейлер

АФФЕКТИВНОСТЬ

Психопатология требует резкого разграничения между

процессами познания и душевными побуждениями Слово «чувство» обозначает двоякого рода процессы и поэтому легко приводит к недоразумениям, так как многие ощущения получают наименование чувств. Точно также и „интеллектуальные чувства» Наловского являются процессами познания. Голод, жажда, боль и т. д. представляют собой смешанные процессы; они заключают в себе ощущение и относящееся к нему или, иначе говоря, вызванное им чувство. Другие физические ощущения, как, например, ощущения напряжения наших мышц имеют еще и другое отношение к чувствам, так как они не только оказывают вторичное влияние на чувства, но и управляются ими и составляют, следовательно, непосредственно часть симптоматиологии аффектов. Ограниченную таким образом группу функций мы называем аффективностью.

Только аффективность в тесном смысле оказывает как в здоровом, так и в болезненном состоянии общеизвестное влияние на физические функции (слезы, сердечная деятельность, дыхание и т. д.), равно как и на торможение и на выявление мыслей. Вообще она является движущим элементом наших действий. Реакцию на изолированное впечатление органа чувств она распространяет на весь организм и на всю психику, устраняет противоположные тенденции и придает, таким образом, реакции определенный объем и силу. Она обуславливает единство действия всех наших нервных и психических органов. Кроме того, она усиливает реакцию также и во временном отношении, придавая определенному направлению действия длительность, выходящую за пределы первичного возбуждения. Она является причиной множества расщеплений и преобразований нашего Я, некоторых форм бреда и т. д.

Аффективность обнаруживает известную самостоятельность по отношению к интеллектуальным процессам, так как аффекты могут переноситься с одного процесса на другой и так как разные люди столь различно реагируют на одни и те же интеллектуальные процессы, невозможно установить какую бы то ни было норму для аффективности. Точно также и развитие аффективности протекает у ребенка совершенно независимо от развития интеллекта.

Поэтому должны существовать различные типы в зависимости от характера реакции на процессы, имеющие резкую эмоциональную окраску. От этой особенности индивида зависит, станет ли он истериком или параноиком или же заболеет другой формой, которая считается в настоящее время функциональной.

Внимание представляет собой одно из проявлений аффективности. Оно руководит ассоциациями в такой же мере,

как и чувства, и вне аффектов не проявляется. В патологии оно претерпевает такие же изменения, как и чувства.

У ребенка чувства могут, как это легко заметить, настолько заменить разум, что результат аффективного проявления и торможения ассоциаций равнозначен результату сложных логических операций. Это — так называемое инстинктивное реагирование.

В патологии аффективные аномальности выступают на первый план во всей картине болезни. При органических психозах аффективность отнюдь не притупляется, как это часто утверждали. Наоборот, у органиков аффективная реакция облегчена (по сравнению с нормальными людьми). Притупление же является лишь кажущимся, вторичным, в нем отражается притупление интеллекта. Если больной не может больше создать сложную идею или же полностью понять ее, то от него, естественно, нельзя ожидать соответствующей эмоциональной реакции.

То же самое относится и к алкоголикам; у эпилептиков аффективность тоже сохраняется, но вместо лабильности, наступающей при органических заболеваниях, она обнаруживает большую устойчивость.

У олигофренов мы встречаем всевозможные вариации аффективности, как и у здоровых людей, но только в еще более широких границах. При *dementia praecox* аффекты определенным образом подавлены, однако, проявления их могут быть еще доказаны.

Голотимное влияние общей установки настроения следует отличать (особенно в патологии) от кататимного влияния аффективной окраски отдельных представлений. Голотимное происхождение имеют, например, бредовые идеи маниакальных больных, меланхоликов; кататимными являются бред преследования и большинство невротических симптомов. Каждый здоровый и больной человек может в зависимости от ситуации обнаруживать голотимную или кататимную реакцию, причем склонность к тому или другому типу реакции может как угодно варьировать в своей силе, совершенно независимо одна от другой. В норме оба эти предрасположения выражены умеренно; у шизоида или циклоида одно из них представляется особенно сильным, у шизопата или циклопата одно из этих предрасположений усиливается вплоть до болезненного состояния, у шизофреника или маниакально-депрессивного больного одно из них повышено до психотического состояния. По Кречмеру этим психическим типам соответствуют определенные физические конституции.

Аффективность представляет собой одну из сторон наших влечений и инстинктов (эргий). Переживания, соответствующие влечениям, связаны с удовольствием (с внутренней точки зрения); переживания, стоящие в противоречии с влечениями, обозначают субъективно неудовольствие.

Важные для психологии глубин механизмы, как вытеснение, передвигание, перенесение и т. д. представляются само собой понятными аффективными механизмами; однако, с нашей точки зрения некоторые второстепенные представления Фрейда, как, например, цензура, должны трактоваться несколько иначе.

ВНУШЕНИЕ

Внушаемость является одной из сторон эффективности. Внушение и эффективность оказывают одинаковое действие на психику и на организм. Поскольку мы можем судить, они действуют также одними и теми же путями.

При примитивных соотношениях (у животных) могут быть внушаемы почти одни только аффекты. Внушаемость, как и эффективность, проявляется у детей раньше, нежели интеллект.

Внушение оказывает на совокупность индивидов такое же влияние, как и аффект на отдельное лицо: оно обуславливает единство и продолжительность действия; оно создает коллективный аффект. Чем больше эмоциональная ценность какой-либо идеи, тем она заразительнее. Внушаемость совокупности индивидов, по многим основаниям, больше, чем внушаемость отдельного лица.

Все, что описывается, как действие самовнушения, может быть столь же правильно описано и как действие эффективности.

Отношение внушаемости и эффективности к вниманию одинаково (равно, как и к болевому ощущению).

ПАРАНОЙЯ

До сих пор не удалось установить происхождения паранойи из патологической аффективной установки. В частности, недоверчивость, которая должна лежать в основе паранойи, не является аффектом. К тому же она встречается не при всех формах паранойи.

При паранойе вообще ни установлено общего, и первичного расстройства настроения. Скоропреходящие или длительные признаки маниакальных или депрессивных расстройств настроения встречаются при паранойе (как и у здоровых людей), но они являются не основой болезни, а лишь моментами,

придающими картине определенную окраску. Ясно выступающие при этом болезненные аффекты являются вторичными следствиями бредовых идей.

Точно также при паранойе нет общего нарушения восприятия или апперцепции или общего изменения образов воспоминания. Наличие гипертрофии Я отнюдь не установлена при паранойе, как постоянный симптом.

То, что обозначают, как гипертрофию Я и как эгоцентрический характер, является отчасти следствием того обстоятельства, что при паранойе на первый план в психике всегда выступает аффективно окрашенный комплекс представлений. Поэтому у параноиков, равно как и у нормальных людей, обнаруживающих в силу каких-либо аффективных оснований или в силу констелляции установку на определенные идеи — повседневные, а также и менее обычные события вступают в ассоциативную связь преимущественно с этим комплексом. Поскольку многое, что не имеет никакого отношения к больному, приводится им в ложную связь с комплексом, постольку из этого возникает бред отношения. Поскольку все аффективно окрашенные комплексы имеют ближайшее отношение к Я, последнее оказывается выдвинутым на первый план; определение «гипертрофированное Я» отнюдь не является подходящим для этого процесса. Кроме того, у каждого параноика имеются стремления или желания, выходящие за пределы его возможностей; точно также и это не может еще быть обозначено, как гипертрофия Я.

Более тщательное исследование возникновения бредовых идей показывает, что под влиянием хронического аффекта (аффекта, связанного с данным комплексом) возникают заблуждения с помощью того же самого механизма, что и у здорового человека, находящегося в возбужденном состоянии. Патологический момент заключается в том, что эти заблуждения не могут быть скорректированы и что они втягивают в свой круг новые переживания.

Предпосылкой для такой установки являются аффекты, которые обладают большой выключающей силой и весьма значительной устойчивостью в смысле сопротивления логическим функциям. Таким образом, ассоциации, соответствующие аффектам, становятся чрезмерно сильными и выявляются в течение долгого времени, ассоциации же, противоречащие аффектам, тормозятся, и дело доходит до логической слабости; но прежде всего благодаря этому возникает неправильное применение к собственной личности всего, что происходит в окружающей обстановке, возникают иллюзии памяти, которые осуществляют в бреде величия желания эйфорически настроенных больных; тех же больных, которые находятся в нормальном или депрессивном настроении, которые как-то чувствуют свою

недостаточность для достижения поставленных перед собой целей, эти иллюзии памяти компенсируют (после того, как аффекты вытесняют из сознания невыносимое представление о собственной слабости) тем, что они переносят в бред преследования причину неудачи во внешний мир; в борьбе с последним больной должен не понижать свою самооценку, а, наоборот, как борец за свое право, он может ее повысить. Ракоподобное распространение и неизлечимость бреда обуславливаются продолжающимся конфликтом между желанием и действительностью.

Что при бреде преследования должны иметь место другие соотношения, чем при бреде величия, явствует из того, что возникновение его происходит не непосредственно.

Предрасположение к созданию параноидного бреда находится в какой-то связи с шизоидной или шизофренией.

Некоторые, не часто встречающиеся формы бредовых построений при легких и остановившихся в своем развитии случаях шизофрении не могут еще быть клинически отграничены от паранойи. В остальном мы имеем основание предположить, что при шизофрении всегда имеет место анатомический процесс, которого нет при паранойе.

Формы так называемой паранойи (как, например, парафрения), которые не соответствуют Крепелиновскому понятию о паранойе (включая сутяжную форму), не могут быть в настоящее время ни безусловно отнесены к шизофреническому кругу, ни полностью отделены от него.